

Донна Тартт

Тайная

История

Роман



FOR PVS

Убийство неизбежно,
как финал древнегреческой трагедии.
Напряженный ритм текста и блестящий стиль
делают эту книгу настоящим событием.

The Miami Herald

Донна Тартт

Тайная история

«АСТ»

1992

Тартт Д.

Тайная история / Д. Тартт — «АСТ», 1992

ISBN 978-5-17-087295-4

Блестящая американская писательница Донна Тартт, лауреат Пулитцеровской премии 2014 года, покорила читателей первым же своим романом “Тайная история”. Книга сразу стала бестселлером. Она переведена на двадцать пять языков и продолжает расходиться многомиллионными тиражами во всем мире. Действие происходит в небольшом колледже в Вермонте, куда девятнадцатилетний Ричард Пейпен приезжает изучать древнегреческий язык. Новые друзья Ричарда – четверо молодых людей и одна девушка – умны, раскованны, богаты и так увлечены античной культурой, что рассматривают себя чуть ли не как особую касту ее хранителей. Их дружба не выдерживает, однако, натиска современного мира. В веселой и сплоченной компании происходит убийство. Пытаясь через много лет осмыслить случившееся, герой по дням воспроизводит свою студенческую жизнь, этапы отношений с однокурсниками и любимой девушкой. Под виртуозным пером Донны Тартт его исповедь превращается в захватывающий психологический триллер.

ISBN 978-5-17-087295-4

© Тартт Д., 1992

© АСТ, 1992

Содержание

Пролог	6
Книга первая	7
Глава 1	7
Глава 2	34
Глава 3	73
Конец ознакомительного фрагмента.	90

Донна Тартт

Тайная история

© 1992 by Donna Tartt

© Д. Бородкин, Н. Ленцман, перевод на русский язык, 2008

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2015

© ООО «Издательство АСТ», 2015

Издательство CORPUS ®

* * *

Брету Истону Элису, чье великодушие я всегда буду с благодарностью помнить, и Полу Эдварду Макглойну – вдохновителю и меценату, лучшему другу до конца моих дней

Пролог

В горах начал таять снег, а Банни не было в живых уже несколько недель, когда мы осознали всю тяжесть своего положения. Кстати, нашли его только через десять дней после гибели. Это была одна из самых крупных поисковых операций за всю историю Вермонта – полиция штата, национальная гвардия, ФБР. В колледже отменили занятия, в Хэмпдене временно закрыли красильную фабрику, люди приезжали из Нью-Гэмпшира и Нью-Йорка, даже из Бостона.

Странно, что бесхитростный план Генри прекрасно сработал, несмотря на все непредвиденные обстоятельства. Мы ведь вовсе не собирались прятать тело. На самом деле мы просто оставили его там, куда оно упало, надеясь, что случайный прохожий наткнется на него прежде, чем исчезновение Банни заметят. Все говорило само за себя: шаткие камни, осыпавшийся край обрыва, на дне ущелья – труп со сломанной шеей. Обычный несчастный случай. Смирненно пролитые слезы, скромные похороны – все могло бы пройти тихо и незаметно, если бы той ночью не выпал снег. Он полностью занес тело Банни, и через десять дней, когда наконец настала оттепель, участники поисков – полиция, ФБР, волонтеры – обнаружили, что все это время ходили по его трупу, утапывая снег в плотную ледяную корку.

Люди в форме, вспышки фотоаппаратов, толпы народа, облепившие Маунт-Катаракт, как муравьи сахарницу, – трудно поверить, что такой шум поднялся вокруг происшествия, ответственность за которое отчасти лежит на мне. Еще труднее поверить, что через все это мне удалось пройти, не вызвав и тени подозрения. Но пройти, увы, еще не означает уйти, и хотя некогда я полагал, что тем апрельским днем навсегда покинул злополучное ущелье, сейчас я в этом совсем не уверен. Теперь, когда поиски давным-давно закончились и в моей жизни все спокойно идет своим чередом, я начал понимать, что, воображая годами, будто нахожусь где-то еще, я все это время был только там – на краю обрыва, у заполнившихся грязью следов от колес в молодой траве, где темное небо нависает над дрожащим яблоневым цветом, а в воздухе уже чувствуется похолодание – предвестие снега, который выпадет ночью.

– А вы-то что здесь делаете? – удивленно воскликнул Банни, заметив нас.

– Да так, папоротники ищем, – ответил Генри.

После того как мы постояли, перешептываясь, в подлеске (последний раз взглянуть на тело, осмотреться – не обронил ли кто ключи или очки, не забыл ли чего) и гуськом потянулись через лес, я еще раз оглянулся. И хотя я помню наш обратный путь и первые одинокие снежинки, парящие на фоне сосен, помню, как мы с облегчением набились в машину и выехали на дорогу, словно семейство, отправившееся на пикник, помню, как Генри с каменным лицом объезжал рытвины, а мы вертелись на сиденьях и болтали, как дети, хотя я слишком хорошо помню ту ужасную долгую ночь и все последующие ужасные долгие дни и ночи, стоит мне оглянуться – и прошедших лет как будто нет в помине, и вновь у меня за спиной черное пятно ущелья, выплывающее из-за зеленых ветвей, картина, которая останется со мной навсегда.

Наверное, сложись все иначе, я мог бы писать о многих других вещах, но теперь у меня нет выбора. В моей жизни была только одна история, и лишь ее я могу рассказать¹.

¹ Следует пояснить, что название книги отсылает к произведению византийского историка Прокопия Кесарийского (ок. 500–562 гг.). Исполняя обязанности военного летописца при дворе императора Юстиниана, он написал восьмитомную “Историю войн”, которую снабдил “неофициальным” дополнением – памфлетом под заглавием *Anecdota* (т. е. неизданное). В нем он излагает закулисные причины описанных в “Истории” политических событий и весьма критически оценивает действия императора. Греческое название памфлета переводилось на английский как *The Secret History*, а на русский – как “Тайная история”. (Здесь и далее – прим. перев.)

Книга первая

И вот я задаюсь вопросом о том, кто и как становится филологом, и утверждаю:

1. В юности человек не имеет еще ни малейшего представления о древних греках и римлянах.

2. Он не знает, пригоден ли он к тому, чтобы сделать их предметом своего изучения.

Фридрих Ницше

Из заметок к ненаписанной книге “Мы, филологи”

Так давай же уделим беседе добрую толику времени, и речь у нас пойдет о воспитании наших героев.

Платон

“Государство”, книга II

Глава 1

Существует ли такая вещь, как “трагический изъян” – зловещая темная трещина, пролегающая через всю жизнь, – вне литературы?² Когда-то я полагал, что нет. Теперь же уверен, что существует. И в моем случае это, видимо, болезненная и неудержимая тяга ко всему, что исполнено внешнего блеска и великолепия.

A moi. L’histoire d’une de mes folies³.

Меня зовут Ричард Пейпен. Мне двадцать восемь лет, и я впервые увидел Новую Англию и Хэмпден-колледж, когда мне исполнилось девятнадцать. Я уроженец Калифорнии, и, как теперь понимаю, меня можно назвать калифорнийцем в том числе и по складу характера. В последнем я смог признаться себе лишь недавно... Впрочем, это не важно.

Вырос я в Плано, маленьком городке на севере Силиконовой долины. Ни братьев, ни сестер у меня не было. Мой отец держал автозаправку, а мать сидела дома. Потом, когда я стал старше, а жизнь – дороже, мать устроилась на работу – диспетчером в офис одного из крупных заводов микроэлектроники в окрестностях Сан-Хосе.

Плано. Это слово вызывает в памяти ряды типовых бунгало, автокинотеатры, источаемые асфальтом волны жара. Проведенные там годы сложились для меня в некое прошлое, расстаться с которым оказалось так же легко, как выбросить пластиковый стаканчик. В некотором смысле это было весьма ценным подарком судьбы. Покинув родительский дом, я сочинил новую, куда более привлекательную историю детства, полную расхожих образов, обычно возникающих при упоминании Калифорнии, – красочное прошлое, легкодоступное для посторонних.

Ослепительный блеск этого вымышленного детства – бассейны, апельсиновые рощи, милые разгильдяи родители, занятые в шоу-бизнесе, – полностью затмил тусклое однообразие детства подлинного, размышляя о котором я не могу вспомнить ничего, кроме унылой мешанины предметов: кеды, в которых я ходил круглый год, дешевые книжки-раскраски, старый, потрепанный мяч – мой вклад в игры с соседскими детьми. Мало интересного, и уж совсем

² Традиционный русский перевод этого термина аристотелевской эстетики – “трагическая ошибка”: “Остается среднее между этими [крайностями]: такой человек, который не отличается ни добродетелью, ни праведностью и в несчастье попадает не из-за порочности и подлости, а в силу какой-то ошибки (*hamartia*)...” (Поэтика, 1453а. Перевод М. Гаспарова).

³ О себе. История одного из моих безумств (*фр.*). А. Рембо. Одно лето в аду. Перевод М. Кудинова.

ничего радующего глаз. Я был тихим, высоким для своих лет подростком с щедрой россыпью веснушек на лице. Я не мог похвастаться большим количеством друзей, но было ли это осознанным моим выбором или же просто стечением обстоятельств, я не знаю. Помнится, учился я хорошо, но среди первых учеников никогда не был. Мне нравилось читать – Толкиена, приключения Тома Свифта, но против телевизора я тоже ничего не имел и частенько проводил длинные и безрадостные часы после школы, лежа перед ним на ковре в нашей пустой гостиной.

Мне почти нечего добавить к этим воспоминаниям, кроме, пожалуй, определенного настроения, которым были проникнуты почти все мои детские годы, – чувства подавленности, связанного с воскресными сериями “Чудесного мира Диснея”. Воскресенье было грустным днем (рано в постель, завтра в школу, я постоянно боялся, что наделал в домашней работе ошибок), но когда в ночное небо над залитыми светом башнями Диснейленда взмывал фейерверк, меня охватывала настоящая тоска. В такие минуты я думал, что мне никогда не выбраться из безотрадной круговерти школы и дома. Мой отец был человеком мелочным и вздорным, наш дом – безобразным, мать никогда не баловала меня вниманием. Я носил купленную по дешевке одежду, был всегда слишком коротко подстрижен, и никто из одноклассников не питал ко мне особой симпатии. А поскольку так было всегда, с тех пор как я себя помнил, я боялся, что и дальше все будет течь в том же мрачном русле. Короче говоря, мне казалось, что все мое существование поражено неким скрытым недугом, исцелиться от которого мне не суждено.

Так что полагаю, нет ничего удивительного в том, что мне трудно соотнести свое прошлое с прошлым моих друзей, по крайней мере с таким, каким я его вижу. Чарльз и Камилла – сироты (как я желал себе этой горькой судьбы!), выросшие под присмотром бабушек и тетушек в огромном старом доме где-то в Виргинии: река, лошади, амбровые деревья – детство, о котором приятно помечтать. Или, например, Фрэнсис. Когда он появился на свет, его матери было всего лишь семнадцать – хрупкая, капризная девочка с рыжими волосами и богатым папой, сбежавшая из дома с барабанщиком Вэнса Вэйна и его “Веселых вагантов”. Через три недели она вернулась домой, через шесть брак был признан недействительным. И что же? Как любит при случае заметить Фрэнсис, дед и бабка воспитали их как брата и сестру – его и его мать. Их окружали такой заботой, что это производило впечатление даже на привыкших ко всему сплетников, – гувернантки из Англии, частные школы, лето в Швейцарии и зима во Франции. Взять даже нашего простофилю Банни. Детство, не больше моего похожее на то, что проходит под знаком матросских костюмчиков и уроков танцев. Но все же американское детство. Отец – ведущий игрок футбольной команды Клемзонского университета, ставший банкиром. Четыре брата – и ни одной сестры – в большом и шумном доме в пригороде; яхты, теннисные корты, золотистые ретриверы, летние поездки на Кейп-Код, элитные пансионаты в окрестностях Бостона, барбекю перед началом футбольных матчей. Неудивительно, что это воспитание проявлялось у Банни абсолютно во всем, от рукопожатия до манеры рассказывать анекдоты.

Ни с кем из них у меня нет и не было ничего общего – ничего, кроме знания греческого и года жизни, проведенного вместе. Впрочем, если общность может быть основана на любви, то нас объединяла еще и любовь, хотя, я понимаю, это может показаться странным в свете той истории, которую я собираюсь рассказать.

С чего начать?

После школы я поступил в маленький колледж в нашем городке (родители были настроены против; они уже давно дали понять, что я должен буду помогать отцу вести дело – одна из причин моего отчаянного стремления попасть в списки студентов) и в течение двух лет изучал там древнегреческий. Объяснялось это вовсе не любовью к языку, а тем, что я учился на медицинском отделении (деньги, как вы понимаете, были единственным способом улучшить мое положение, а врачи зарабатывают много денег, *quod erat demonstrandum*⁴). Учебный план

⁴ Что требовалось доказать (лат.).

предполагал несколько гуманитарных курсов, и мой куратор предложил мне выбрать язык. А поскольку, как выяснилось, занятия греческим начинались во второй половине дня, я остановился на них – кто откажется поспать подольше в понедельник? Этот абсолютно случайный выбор решил, как вы увидите, мою судьбу.

Греческий шел у меня хорошо, можно сказать, отлично, и в последний год колледжа я даже получил награду классического отделения. Это был мой любимый предмет, поскольку он один проходил в нормальной аудитории – никаких банок с бычьими сердцами, никаких набитых обезьянами клеток, никакого запаха формальдегида. Сначала я думал, что упорным трудом смогу преодолеть врожденную брезгливость и отвращение к выбранной профессии, что в будущем, удвоив усилия, возможно, даже сумею изобразить подобие призвания. Но это был не тот случай. Проходили месяцы, а изучение биологии по-прежнему не вызывало у меня интереса, вернее сказать, вызывало лишь откровенную неприязнь. Я получал низкие оценки, сокурсники относились ко мне с не меньшим презрением, чем преподаватели. Не сказав ни слова родителям, я перевелся на отделение английской литературы, что, даже на мой собственный взгляд, было поступком отчаянным и безрассудным. Я чувствовал, что тем самым затягиваю петлю у себя на шее, что непременно буду об этом жалеть, – ведь тогда я еще искренне верил, что лучше потерпеть неудачу на прибыльном поприще, чем процветать в сфере, которая, как считал мой отец (не имевший представления ни об экономике, ни об университетской науке), не сулила никакой выгоды. По его словам, выбор такой профессии неизбежно приведет к тому, что до конца жизни я буду выпрашивать у него деньги, а он совершенно не собирался мне их давать.

Итак, я начал изучать литературу, и мне это понравилось. Но мое отношение к Плано осталось прежним. Вряд ли я смогу объяснить, почему моя среда порождала во мне чувство такой безысходности. Сейчас я догадываюсь, что в тех условиях и при своем характере я был бы несчастлив где угодно, будь то Биарриц, Каракас или остров Капри, но в то время я ничуть не сомневался, что мое подавленное состояние неразрывно связано с местом, где я жил. Возможно, отчасти так оно и было. Пусть Милтон в известной мере прав – в себе обрел свое пространство дух, в себе он может создать из ада рай⁵, и далее по тексту, – и все же очевидно, что основатели Плано воздвигали город, взяв за образец не рай, но ту, иную, мрачную и скорбную обитель. В старших классах я приобрел привычку бродить после школы по торговым центрам, описывая круги среди холодных, сверкающих галерей, пока все это – яркие упаковки и штрихкоды, променады и эскалаторы, зеркала, “мюзак”, свет и шум – не заполняло мой мозг настолько, что в нем просто перегорали пробки, и тогда все вокруг внезапно сливалось в пеструю расплывчатую массу: цвет без формы, тихий звон разлетающихся молекул. Потом я, словно зомби, брел к парковке и ехал на бейсбольное поле, а приехав, даже не вылезал из машины – просто оцепенело сидел, положив руки на руль, и смотрел на пожелтевшую зимнюю траву и проволочную ограду, пока солнце не уходило за горизонт, так что уже ничего не было видно в наступивших сумерках.

Порой мне нравилось думать, будто моя неудовлетворенность была божественной или даже марксистской (когда я был подростком, то часто напускал на себя вид убежденного социалиста – как правило, просто для того, чтобы позлить отца), но на деле я был очень далек от того, чтобы понять ее природу, и возмущился бы, предположи кто-нибудь, что подлинный ее источник – стойкая пуританская жилка в моем характере. Однако дело было именно в ней. Не так давно я обнаружил в старом блокноте запись, сделанную, когда мне было восемнадцать или около того:

Я чувствую, что все здесь пропитано запахом гнили, гнили перезревших плодов. Нигде и никогда жуткая механика рождений, совокуплений и

⁵ Потерянный рай, I, 254.

смерти – этих чудовищных шестеренок жизни, которые греки называли tiasa, скверной, – не была столь неприкрытой и в то же время столь коварно подмалеванной, нигде и никогда люди не верили так слепо в ложь, непостоянство и смерть, смерть, смерть.

Изрядная пошлятина, на мой взгляд. Глядя на эти строчки, я подумал, что останься я в Калифорнии, то непременно ударился бы в религию или, по крайней мере, стал приверженцем какой-нибудь причудливой диеты. Помнится, как раз в то время я читал что-то о Пифагоре и некоторые из его идей необычайно меня привлекали – например ношение белых одежд и отказ от употребления в пищу существ, наделенных душой.

Однако вместо этого я оказался на Восточном побережье.

Я наткнулся на Хэмпден по прихоти судьбы. Однажды вечером – это был один из бесконечных Дней благодарения: дождь за окном, консервированный клюквенный соус, назойливый шум спортивных телепередач – я заперся у себя в комнате после ссоры с родителями (не помню, что послужило поводом в тот вечер, помню лишь, что ссорились мы постоянно – из-за колледжа и денег) и принялся ожесточенно рыться в шкафу, ища свою куртку, как вдруг откуда-то выпал буклет: “Хэмпден-колледж, Хэмпден, штат Вермонт”.

Буклет был двухлетней давности – в старших классах я получал много всего такого от разных колледжей, поскольку хорошо сдавал стандартные тесты (увы, не настолько, чтобы можно было рассчитывать на стипендию). Я хранил его в учебнике геометрии весь последний год школы.

Не знаю, как он оказался в шкафу, – наверное, мне просто стало жаль его выкидывать. В тот год я изучал фотографии Хэмпдена часами, словно надеясь, что если буду смотреть на них долго и пристально, то благодаря некоему осмотическому процессу проникну в их ясную, ничем не нарушаемую тишину. Я помню эти фотографии по сей день – так, бывает, запоминаются картинки из любимой детской книжки. Залитые солнцем луга, расплывчатые очертания окутанных дымкой гор, толстый ковер листвы на ветреной осенней дороге. Праздничные костры и стелющийся в долинах туман, изгибы виолончелей, темные окна, снег.

Хэмпден-колледж, Хэмпден, штат Вермонт. Основан в 1895 году (одно это вызывало удивление – в Плано я не знал ни одного учреждения, основанного ранее 1962 года). Пятьсот студентов. Совместное обучение. Прогрессивная направленность. Профильное направление – гуманитарные науки. Строгий отбор.

Предлагая всесторонний курс изучения гуманитарных дисциплин, наш колледж ставит целью не только обретение студентами прочного профессионального фундамента в выбранной области знаний, но и развитие способности свободно ориентироваться во всех направлениях западного искусства, мышления и культуры. Тем самым мы надеемся снабдить каждого студента не только сухими фактами, но и живым началом всякого истинного знания.

Хэмпден-колледж, Хэмпден, штат Вермонт. Даже в названии присутствовал строгий английский лад, по крайней мере так казалось мне – американцу, безнадежно тосковавшему по Англии и безразличному к мягкому, неясному говору миссионерских городков. Мой взгляд привлекла фотография здания, называвшегося в буклете Палатой общин. Во всех окнах горел слабый свет – ничего подобного я не видел в Плано, не видел нигде и никогда. Этот свет наводил на мысли о пыльных библиотеках, о древних манускриптах, о тишине.

В дверь постучала мать, позвала меня. Я не ответил. Я вырвал из буклета анкету и начал ее заполнять.

Имя: Джон Ричард Пейпен

Адрес: 4487 Мимоза-корт, Плано, Калифорния

Хотели бы вы получить информацию о системе финансовой помощи? –
Да (*разумеется*).

И на следующий же день я опустил конверт в почтовый ящик.

Последующие месяцы были сплошной канцелярской битвой, бесконечной окопной войной, перевеса в которой не могла добиться ни одна из сторон. Отец отказался предоставить сведения о доходах для заявления о финансовой помощи. В конце концов в полном отчаянии я стащил из бардачка его “тойоты” налоговые декларации и заполнил бумаги сам. Вновь ожидание. Потом извещение от председателя приемной комиссии: необходимо пройти собеседование, когда бы я мог вылететь в Вермонт? У меня не было денег на билет в Вермонт, и я прямо ему об этом написал. Очередная пауза, очередное письмо. Колледж соглашался возместить мне дорожные расходы, если будут приняты условия стипендии. Тем временем пришел пакет документов с условиями финансовой помощи. Взнос семьи был больше, чем отец, по его словам, мог себе позволить, и он заявил, что денег не даст. Эта партизанщина тянулась восемь месяцев. Я до сих пор не совсем понимаю весь ход событий, которые привели меня в Хэмпден. Сочувственно настроенные профессора писали письма, для меня делали разного рода исключения, и вот меньше чем через год с того дня, как, повинувшись внезапному порыву, я лег на лохматый желтый ковер своей комнатухи в Плано и заполнил анкету, я уже стоял на автостанции в Хэмпдене с двумя чемоданами и пятьюдесятью долларами в кармане.

Когда после долгой тревожной ночи, заставшей нас где-то в Иллинойсе, я сошел с автобуса, было шесть часов утра и солнце вставало над горами, освещая березовые рощи и неправдоподобно зеленые луга. Мне никогда не доводилось бывать восточнее Санта-Фе или севернее Портленда, и, измученный трехдневной дорогой и ночью без сна, я подумал, что оказался в какой-то волшебной стране.

Общежития даже не были похожи на обычные общаги – во всяком случае на те, которые мне доводилось видеть, со шлакобетонными стенами и унылым желтоватым освещением, – нет, это были белые, обшитые вагонкой дома с зелеными ставнями, стоявшие в окружении ясеней и кленов. Однако я не сомневался, что моя комната, не важно где, обязательно будет мрачной и неприглядной, и потому страшно удивился, когда увидел ее: светлая, с большими, выходящими на север окнами, со скошенным, как в мансарде, потолком и потертыми дубовыми полами, она напоминала строгую монашескую келью. В первый вечер я сидел на кровати, смотрел на серые стены, медленно покрывавшиеся золотом заката, а затем погружавшиеся в черноту, и слушал, как где-то на другом конце коридора невидимое сопрано совершает головокружительные взлеты и падения. Уже совсем стемнело, а сопрано все продолжало возноситься по спирали вверх, словно некий ангел смерти, и я помню, что воздух еще никогда не казался мне таким заоблачным, разреженным и холодным, как в ту ночь, и еще никогда я не чувствовал себя так далеко от раскаленных улочек Плано.

Несколько дней до начала занятий я провел в одиночестве, сидя в своей сверкающей побелкой комнате, гуляя по наполненным светом лугам. И я был счастлив в эти первые дни, счастлив как никогда раньше; шатаюсь повсюду, как лунатик, вне себя от изумления, я был пьян красотой. Стайка розовощеких девушек, играющих в мяч, взлетающие хвостики волос, едва слышные издали смех и крики над бархатистым, накрытым сумерками полем. Яблони, сгибающиеся под тяжестью плодов, красные пятна паданцев в траве, вокруг – сладкий, густой запах прели и ровное жужжание ос. Башня с часами на здании Палаты общин: увитые плющом кирпичи и белый шпиль, застывший в зачарованной дымчатой выси. Потрясение, которое я испытал, в первый раз увидев березу ночью, – в темноте она тянулась ввысь, изящная и холодная, как привидение. И сами ночи, не умещавшиеся в воображении: черные, ветреные, безбрежные, в исступленном хаосе звезд.

Я собирался вновь записаться на греческий, так как это был единственный иностранный язык, в котором я хоть как-то разбирался. Однако когда я сказал об этом своему учебному куратору (им оказался преподаватель французского Жорж Лафорг; оливковая кожа и узкий нос с большими ноздрями придавали ему забавное сходство с черепахой), он лишь улыбнулся и сложил руки домиком.

– Боюсь, здесь мы сталкиваемся с проблемой, – сказал он с заметным французским акцентом.

– Да? С какой?

– В Хэмпдене всего один учитель древнегреческого, и он предъявляет к своим студентам очень высокие требования.

– Я изучал греческий два года.

– Скорее всего, это не сыграет никакой роли. И потом – если вы решили специализироваться на английской литературе, вам будет нужен какой-нибудь современный язык. Еще есть места в моей группе французского для начинающих, и довольно свободно в группах немецкого и итальянского. Испанский... – он сверился со списком, – практически все испанские группы заполнены, но, если хотите, я мог бы поговорить с мистером Дельгадо.

– Может, вы могли бы поговорить с преподавателем греческого?

– Вряд ли это поможет. Он принимает лишь ограниченное число студентов. Очень ограниченное. Кроме того, на мой взгляд, он производит отбор, руководствуясь принципами скорее личными, чем академическими.

В его голосе слышались нотка сарказма и намеки на то, что, если я не против, он предпочел бы сменить тему.

– Не понимаю, что вы имеете в виду.

На самом деле я думал, что догадываюсь, о чем идет речь, и ответ Лафорга меня удивил.

– Нет-нет, дело не в этом, – сказал он. – Безусловно, он выдающийся ученый и при этом, кстати, весьма обаятельный человек. Но вот его педагогические методы я бы назвал в высшей степени странными. Его подопечные практически не контактируют с другими преподавателями. Мне непонятно, почему его курсы продолжают вноситься в общую программу, – это только сбивает всех с толку. Каждый год из-за этого возникают какие-нибудь недоразумения, потому что, по сути дела, доступ в его группу закрыт. Я слышал, для того чтобы учиться у него, нужно читать “правильные” книги, придерживаться взглядов, схожих с его собственными, и тому подобное. Случалось неоднократно, что он отказывал таким студентам, как вы, – тем, кто раньше уже занимался древними языками. Что касается меня, – он вскинул бровь, – если студент хочет учиться и его уровень соответствует требованиям, я разрешаю посещать мои занятия. Весьма демократично, нет? Такой подход лучше всего.

– И часто здесь такое случается?

– Конечно. Трудные учителя есть в каждом колледже. А в Хэмпдене... – к моему удивлению, он понизил голос, – а в Хэмпдене их масса, и это далеко не самый тяжелый вариант. Но должен попросить вас никому не передавать мои слова.

– Хорошо, не буду, – пообещал я, немного удивленный его внезапной доверительной манерой.

– Нет, правда, крайне важно, чтобы вы хранили молчание. – Он подался вперед и перешел на шепот, едва открывая свой маленький рот. – Я вынужден настаивать. Вероятно, вы и не подозреваете, что некоторые особо влиятельные преподаватели филологического факультета хотят сжить меня со света. Да что там – завистники нашлись даже на моем родном отделении, хотя в это и трудно поверить. Кроме того, – продолжил он уже спокойнее, – с ним особый случай. Он преподает здесь много лет, причем совершенно бесплатно.

– Почему?

– Он состоятельный человек. Свое жалованье он передает в дар колледжу – впрочем, кажется, принимает один доллар в год из налоговых соображений.

– Вот как...

Хотя я провел в Хэмпдене всего несколько дней, я уже привык к постоянным жалобам администрации на финансовые затруднения, недостаток пожертвований, необходимость все время изворачиваться и экономить.

– Что касается меня, – вновь начал Лафорг, – мне конечно же нравится преподавать, но я женат, и во Франции у меня дочь-школьница, так что деньги тут весьма кстати, правда?

– Знаете, возможно, я все равно поговорю с ним.

Лафорг пожал плечами.

– Можете попробовать, но тогда я советую вам не договариваться с ним о встрече заранее, иначе, вполне вероятно, он вас не примет. Да, зовут его Джулиан Морроу.

До этого разговора я не был уверен, что действительно хочу записаться на греческий, но то, что сказал Лафорг, меня заинтриговало. Я спустился по лестнице и вошел в первый попавшийся кабинет. За столом в приемной ела сэндвич унылая тощая блондинка с жидкими прядями крашенных волос.

– У меня обед, – сразу заявила она. – Приходите в два.

– Извините, я просто хотел узнать, как мне найти преподавателя.

– Я же секретарь, а не справочная. Хотя, может, я и знаю. Кто вам нужен?

– Джулиан Морроу.

– О, даже так... И какое, интересно, у вас к нему дело? Вообще-то он должен быть в Лицее, на втором этаже.

– А номер кабинета не подскажете?

– Он единственный преподаватель там наверху. Обожает покой и тишину. Вы наверняка легко его найдете.

На самом деле найти Лицей оказалось вовсе не просто. Лицеем называлось небольшое старое здание на окраине кампуса, словно нарочно увитое плющом так, что почти сливалось с окружающим пейзажем. На первом этаже располагались лекционные залы и учебные аудитории – чисто вымытые доски, натертые воском полы и ни одной живой души. Я бродил в растерянности, пока не заметил в дальнем углу узкий и плохо освещенный лестничный пролет.

Поднявшись наверх, я оказался в длинном пустом коридоре и пошел вперед, прислушиваясь к уютному шарканью собственных туфель по линолеуму и высматривая надписи на дверях. Наконец на одной из них я заметил маленькую медную рамку, гравированная карточка в ней гласила: ДЖУЛИАН МОРРОУ. На секунду я замер, затем постучал – три коротких удара.

Прошла минута, другая, наконец белая дверь чуть приоткрылась, и я увидел обращенное ко мне лицо – небольших пропорций, умное, настороженное и полное сдержанного ожидания, словно знак вопроса. Некоторые черты казались почти что юношескими – высокие, как у эльфов, брови, точеный нос и гладкий подбородок, – однако назвать его обладателя молодым было никак нельзя, особенно глядя на белые как снег волосы. Обычно я довольно точно определяю возраст людей, но сказать, сколько лет этому человеку, я не мог даже приблизительно.

Несколько секунд я просто стоял под озадаченным взглядом его моргающих голубых глаз.

– Чем могу вам помочь?

Его голос звучал рассудительно и ласково – так радушно настроенные взрослые порой разговаривают с детьми.

– Я... э-э, меня зовут Ричард Пейпен...

Он склонил голову набок и моргнул, напомнив мне дружелюбного воробья с ясными глазами-бусинками.

– ...и я хочу посещать ваши занятия по древнегреческому языку.

Выражение его лица резко изменилось.

– Мне очень жаль. – Как ни странно, его тон заставлял поверить, что ему действительно жаль – даже больше, чем мне. – Ничто не могло бы доставить мне большего удовольствия, но, боюсь, мест нет. Моя группа уже заполнена.

Что-то в его искреннем на вид сожалении придало мне смелости.

– Наверняка есть какая-нибудь возможность. Еще один студент...

– Мне ужасно жаль, мистер Пейпен, – он произнес это почти так, как если бы утешал меня в смерти близкого друга, пытаюсь объяснить мне, что, как бы он ни старался, ничего поделать уже нельзя, – но я ограничил себя пятью студентами и даже помыслить не могу о том, чтобы взять еще одного.

– Пять студентов – это не так много.

Он быстро покачал головой, закрыв при этом глаза, словно был просто не в силах вынести мою настойчивость.

– Поверьте, я был бы рад взять вас, но не должен допускать и мысли об этом. Мне очень жаль. Надеюсь, вы извините меня – я сейчас занимаюсь со студентом.

Прошло больше недели. Я приступил к занятиям и нашел работу у доктора Роланда, профессора психологии. Я должен был помогать ему в некоем “исследовании”, цель которого так и осталась для меня загадкой. Доктор Роланд был бихевиористом. Этот старикан имел, как правило, неряшливый и отсутствующий вид и большую часть времени бесцельно просиживал в преподавательской. У меня даже появилось несколько друзей – в основном первокурсники, жившие в моем корпусе. Впрочем, слово “друзья” здесь не совсем подходит. Мы сидели за одним столом в столовой, мы здоровались и прощались, но, в сущности, нас связывало лишь то, что больше мы никого здесь не знали (хотя тогда это не слишком-то нас и огорчало). Тех немногих знакомых, которые уже пробыли в Хэмпдене некоторое время, я расспросил о том, что за человек Джулиан Морроу.

Почти все слышали о нем, и я получил множество противоречивых и поразительных сведений. Говорили, что он необыкновенно одаренный человек, что он мошенник, что он даже не окончил колледж, что в сороковые годы он был видным интеллектуалом и дружил с Эзрой Паундом и Томасом Элиотом, что его семья сделала состояние на акциях какого-то преуспевающего банка или, по другой версии, на скупке отчужденной собственности во времена Великой депрессии, что в какую-то из войн он уклонялся от призыва, что у него были связи с Ватиканом, с семьей какого-то низложенного шаха, со сторонниками Франко в Испании... Выяснить достоверность любого из этих утверждений было, разумеется, невозможно, но чем больше подобных слухов до меня доходило, тем сильнее разгоралось мое любопытство. В конце концов я стал наблюдать за ним и группкой его учеников всякий раз, как замечал их на кампусе. Четверо юношей и одна девушка – издали они не казались какими-то необычными. Однако стоило рассмотреть их поближе, и от них уже было не оторвать глаз – я, по крайней мере, не мог. Люди, подобные им, мне никогда не встречались, и я заранее наделял их множеством ярких черт, встретить которые можно, наверное, лишь у персонажей фильмов и книг.

Двое ребят носили очки, как ни странно, одинаковой формы – маленькие, старомодные очки в круглой стальной оправе. У того, что покрупнее – а он и вправду был крупным, за метр девяносто, – было прямоугольное лицо, темные волосы и грубоватая бледная кожа. Его можно было бы назвать красивым, будь его черты более подвижными, а глаза за стеклами очков более выразительными и живыми. Он носил темные костюмы английского покроя и всегда появлялся с длинным черным зонтом – зрелище для Хэмпдена, прямо скажем, причудливое. Сквозь толпы битников, панков, самодовольных выпускников частных школ он шествовал ровным, невозмутимым шагом, со строгой осанкой старой балерины, что было удивительно в человеке его габаритов. “Генри Винтер”, – сообщили мне приятели, когда однажды я указал на

его черную фигуру вдалеке: сделав изрядный крюк, он обходил стороной кучку колошматящих по бонгам хиппи.

Тот, что пониже – правда, ненамного, – был неряшливый, розовощекий, постоянно жевавший жвачку блондин, неизменно пребывавший в приподнятом настроении. Он всегда носил один и тот же пиджак – бесформенное нечто из коричневого твида с протертыми на локтях рукавами, не достававшими ему до запястий, – и ходил, засунув кулаки глубоко в карманы пузырящихся на коленях брюк. Его песочного цвета волосы лежали так, что правый глаз был едва виден из-за длинной пряди, свисавшей поверх очков. Звали его Банни Коркоран (в Банни непостижимым образом превратилось имя Эдмунд). В столовой я часто слышал его громкий и резкий голос, легко различимый в общем шуме.

Третий юноша из этой пятерки выглядел необычнее всех. Элегантный, с острыми выступами локтей и плеч и нервными движениями рук, он был таким худым, что, казалось, вот-вот сломается. Лукавое, белое, как у альбиноса, лицо венчала аккуратная огненная копна самых рыжих волос на свете. Я полагал (ошибочно), что он одевается, как Альфред Дуглас или граф де Монтескью⁶: великолепные накрахмаленные рубашки с отложными манжетами, изумительные галстуки, легкое черное пальто, полы которого вздымались на ходу и придавали ему сходство с королем студенческого бала и Джеком-потрошителем одновременно. Как-то раз я с восхищением заметил у него на носу пенсне. (Позже выяснилось, что оно ненастоящее, в оправу вставлены простые стекла, а зрение у него острее моего.) Его звали Фрэнсис Абернати. Дальнейшие расспросы вызвали подозрение у моих знакомых мужского пола, недоумевавших, с чего бы мне интересоваться такой особой.

И наконец, были еще двое, юноша и девушка. Я часто видел их вместе и сначала принял за обыкновенную парочку, но однажды, рассмотрев поближе, догадался, что они брат и сестра. Позже я узнал, что они, более того, близнецы. Сходство их было удивительным – оба с густыми русыми волосами и лишенными явных признаков пола лицами, такими же ясными, радостными и полнокровными, как лица ангелов на картинах фламандцев. Пожалуй, они так сильно выделялись в Хэмпдене, где кишмя кишели непризнанные гении и начинающие декаденты, а в одежде *de rigueur*⁷ считался черный цвет, еще и потому, что предпочитали носить светлые, преимущественно белые, вещи. В удушливом смоге сигарет и мрачных умствований они мелькали то тут, то там, словно аллегорические фигуры из старинной постановки или призраки гостей давным-давно минувшего чаепития в саду. Они были единственными близнецами на кампусе, и узнать их имена было нетрудно: Чарльз и Камилла Маколей.

Все они казались мне абсолютно недоступными. И все же я с интересом наблюдал за ними при всякой возможности: вот Фрэнсис, нагнувшись, беседует с сидящим на ступеньке крыльца котом; вот Генри пронесется мимо в маленькой белой машине, на сиденье рядом с ним – Джулиан собственной персоной; вот Банни, высунувшись из окна второго этажа, что-то кричит близнецам на лужайке. Постепенно ко мне просочились еще кое-какие сведения. Фрэнсис Абернати приехал из Бостона и, по слухам, был юношей весьма состоятельным. Генри, как говорили, тоже был не беден, к тому же отличался феноменальными лингвистическими способностями. Он знал несколько языков, древних и современных, и в восемнадцать лет опубликовал комментированный перевод Анакреона. (Мне рассказал об этом Жорж Лафорг; правда, когда мы коснулись этой темы, он стал мрачен и немногословен. Позже я узнал, что на первом курсе Генри поставил его в ужасно неловкое положение перед всем факультетом, когда Лафорг отвечал на вопросы после своей ежегодной лекции по Расину.) Близнецы снимали квартиру в

⁶ Альфред Дуглас (1870–1945) – английский поэт, друг и любовник Оскара Уайльда. Граф Робер де Монтескью-Фезенсак (1855–1921) – французский писатель, был известен как арбитр элегантности.

⁷ Обязательным (*фр.*).

городе и были родом откуда-то с юга. А Банни Коркоран имел обыкновение слушать у себя в комнате марши Джона Филипа Сузы – поздно ночью и на полную громкость.

Все это вовсе не значит, что я был занят исключительно подобными наблюдениями. Я только начал привыкать к колледжу, занятия шли полным ходом, к тому же немало времени у меня отнимала работа. Мой острый интерес к Джулиану Морроу и его греческим ученикам уже начал ослабевать, когда произошло одно удивительное совпадение.

Шла вторая неделя моего пребывания в колледже. В среду утром, перед второй парой, я заглянул в библиотеку, чтобы отксерокопировать кое-что для доктора Роланда. Спустя полчаса, когда у меня уже рябило в глазах, я вернул ключ от ксерокса библиотекарише и пошел к выходу, но тут заметил Банни и близнецов. Они сидели за столом среди хаоса бумаг, перьевых ручек и пузырьков с чернилами. Мне особенно запомнились эти пузырьки – я был буквально очарован ими и еще длинными черными ручками, до ужаса архаичными и неудобными на вид. На Чарльзе был белый теннисный свитер, а на Камилле – летнее платье с матросским воротничком и соломенная шляпка. Банни свой пиджак бросил на спинку стула, и на подкладке всем на обозрение красовалось несколько внушительных пятен и прорех. Сам он сидел в мятой рубашке, закатав рукава и водрузив локти на стол. Все трое разговаривали вполголоса, сдвинув головы.

Внезапно мне захотелось узнать, о чем они говорят. Я направился к книжной полке позади их столика медленным, неуверенным шагом, словно бы не зная толком, что мне нужно, подбираясь все ближе и ближе, пока не подошел к ним почти вплотную, так, что мог бы тронуть Банни за плечо. Повернувшись к ним спиной, я взял с полки первую попавшуюся книгу – какой-то нелепый сборник работ по социологии – и сделал вид, что изучаю указатель. Ресоциализация. Респонденты. Референтные группы. Рефлексия.

– Я не уверена, – услышал я голос Камиллы. – Если греки плывут к Карфагену, то здесь должен быть винительный. Помните? Отвечает на вопрос “куда?”. Так по правилу.

– Не годится.

Это был Банни. Он говорил, растягивая слова и слегка гнусая. У. К. Филдс с особо тяжелым случаем лонг-айлендской манеры цедить сквозь зубы.

– Здесь не вопрос “куда?”, а вопрос “где?”. Ставлю на аблатив.

Озадаченное молчание и шелест страниц.

– Стоп, – сказал Чарльз; его голос, хрипловатый и слегка южный, был очень похож на голос сестры. – Смотрите, они не просто плывут к Карфагену, они плывут его штурмовать.

– Ты с ума сошел.

– Нет, так и есть. Посмотрите на следующее предложение. Здесь нужен дателыйный.

– Ты уверен?

Опять шелест страниц.

– Абсолютно. *Epi tō Karchidona*.

– Ничего не получится, – авторитетно заявил Банни. Судя по голосу, можно было подумать, что у меня за спиной сидит Терстон Хауэлл из “Острова Гиллигана”. – Аблатив – то, что доктор прописал. Обычное дело – если не можешь определить падеж, значит, это аблатив.

Секундная пауза.

– Банни, что ты вообще несешь? – вздохнул Чарльз. – Аблатив – латинский падеж.

– Ну разумеется, я в курсе, – раздраженно ответил Банни после некоторого замешательства, говорившего скорее об обратном. – Ты же понял, о чем я. Аорист, аблатив – один черт, честное слово...

– Нет, Чарльз, – вмешалась Камилла, – дателыйный здесь не подходит.

– Говорю тебе, подходит. Они ведь плывут, чтобы штурмовать город, так?

– Да, но ведь греки плыли через море и к Карфагену.

– Но я же поставил впереди *epi*!

– Ну да – вполне можно употребить *epi*, если мы штурмуем город, но по первому правилу здесь нужен винительный падеж.

Самость. Самосознание. Сегрегация. Я уткнулся в указатель и принялся ломать голову над нужным падежом. Греки плывут через море к Карфагену. К Карфагену. Вопрос “куда?”. Вопрос “откуда?”. Карфаген.

Вдруг меня осенило. Я закрыл книгу, поставил ее на полку, повернулся к их столику:

– Прошу прощения.

Они сразу же прервали разговор и, подняв головы, изумленно уставились на меня.

– Извините, но, может быть, подойдет местный падеж?

Некоторое время все молчали.

– Местный падеж? – удивился Чарльз.

– Просто подставьте к *Karchido ze*, – продолжил я как можно более уверенным тоном. – По-моему, это *ze*. Тогда вам не понадобится предлог – кроме *epi*, конечно, если они отправились на войну. *Ze* подразумевает “по направлению к”, так что и насчет падежа можно не волноваться.

Чарльз посмотрел в свои записи, вновь на меня.

– Местный? Звучит как-то сомнительно.

– Ты когда-нибудь встречал Карфаген в этом падеже? – спросила Камилла.

Об этом я не подумал.

– Вообще-то нет. Но мне точно встречались Афины.

Чарльз пододвинул к себе словарь и принялся его листать.

– А, черт, да не возись ты, – махнул рукой Банни. – Если не надо ничего склонять и можно обойтись без предлога, то, по-моему, лучше просто не бывает. – Он откинулся на спинку стула и взглянул на меня. – Позволь, я пожму твою руку, незнакомец.

Я протянул ему руку. Крепко сжав, он потряс ее, едва не опрокинув локтем пузырек с чернилами.

– Рад познакомиться, очень-очень рад, – заверил он меня, свободной рукой откидывая волосы со лба.

Эта внезапная вспышка внимания смутила меня. Все было так, словно бы со мной вдруг заговорили персонажи любимой картины, только что погруженные в собственные мысли и заботы на холсте. Не далее как вчера в коридоре колледжа на меня чуть не налетел Фрэнсис, пронесшись мимо в облаке черного кашемира и табачного дыма. На какой-то миг, когда его плечо коснулось меня, он превратился в существо из плоти и крови, но уже секунду спустя снова стал плодом воображения, галлюцинацией, скользящей по коридору, столь же равнодушной ко мне, как, говорят, призраки, поглощенные своими потусторонними делами, равнодушны к миру живых.

Все еще листая словарь, Чарльз встал и протянул мне руку:

– Чарльз Маколей.

– Ричард Пейпен.

– А, так это ты, – вдруг сказала Камилла.

– Что?

– Ведь это ты заходил узнать насчет занятий?

– Это моя сестра, – сказал Чарльз, – а это... Бан, ты уже представился?

– Нет-нет, кажется, нет. Вы просто осчастливили меня, сэр. У нас еще десяток таких предложений и пять минут на все про все, – сообщил Банни и вновь схватил мою руку: – Эдмунд Коркоран.

– Ты долго занимался греческим? – спросила Камилла.

– Два года.

– Кажется, ты неплохо знаешь его.

– Жаль, что ты не в нашей группе, – сказал Банни.

Неловкое молчание.

– Э-э, Джулиан немного странно относится к таким вещам, – замаявшись, сказал Чарльз.

– Слушай, а сходи-ка ты к нему еще раз, – оживился Банни. – Принеси ему цветочков, скажи, что ты без ума от Платона, и потом можешь смело вить из него веревки.

Опять молчание, на этот раз совсем уж неодобрительное.

Камилла улыбнулась, но словно бы и не мне – очаровательная, равнодушная улыбка в пространство, как будто я был официантом или продавцом. Чарльз тоже улыбнулся – вежливо, слегка вскинув брови. Это легкое движение бровей могло быть произвольным, могло, по правде говоря, означать все что угодно, но я увидел в нем только одно: “Надеюсь, это все?”

Я что-то промямлил, собираясь повернуться и уйти, но в этот момент Банни, сидевший лицом к входу, резким движением ухватил меня за запястье:

– Постой.

Я оторопело поднял глаза. От дверей библиотеки к нам направлялся Генри – темный костюм, зонт, все как обычно. Подойдя к столу, он сделал вид, что не замечает меня.

– Привет, – обратился он к остальным. – Вы закончили?

Банни кивнул в мою сторону:

– Слушай, Генри, мы тут кое-кого хотели с тобой познакомить.

Генри мельком взглянул на меня. Выражение его лица нисколько не изменилось, он только на секунду зажмурился, словно появление в его поле зрения человека вроде меня было чем-то немыслимым.

– Да-да, – продолжил Банни. – Этого молодого человека зовут Ричард... Ричард – как там?

– Пейпен.

– Ну да, Ричард Пейпен. Изучает греческий.

Чуть приподняв подбородок, Генри смерил меня взглядом:

– Очевидно, не здесь.

– Не здесь, – подтвердил я, стараясь смотреть ему в лицо, но его взгляд был таким откровенно уничижительным, что мне пришлось отвести глаза.

– А, Генри, взгляни-ка вот на это, – спохватился Чарльз, вновь погрузившись в ворох своих бумаг. – Мы хотели поставить здесь дателый или винительный, но он посоветовал нам местный.

Генри склонился над его плечом, изучая страницу.

– Хм, архаичный локатив, – сказал он. – Весьма в духе Гомера. Конечно, грамматически это верно, но, возможно, несколько выпадает из контекста.

Он выпрямился и повернулся ко мне. Свет падал под таким углом, что за стеклами очков мне было совсем не видно его глаз.

– Очень интересно. Ты специализируешься на Гомере?

Я хотел было ответить “да”, но почувствовал, что он будет только рад уличить меня во лжи, а главное, сможет сделать это без особого труда.

– Мне нравится Гомер, – только и выдавил я из себя.

Это замечание было встречено холодным презрением.

– Я обожаю Гомера, – сухо произнес Генри. – Разумеется, мы изучаем несколько более поздние вещи: Платона, трагиков и так далее.

Пока я лихорадочно соображал, что бы мне ответить, Генри уже отвернулся, утратив ко мне всякий интерес.

– Нам пора идти, – сказал он.

Чарльз собрал бумаги и поднялся из-за стола: встала и Камила и на этот раз тоже подала мне руку. Когда они стояли вот так, бок о бок, их сходство было особенно разительным. Про-

являлось оно, впрочем, не столько в чертах лица, сколько в мимике и манере держаться. Между ними словно бы существовала тайная связь, по каналам которой передавались жесты и движения – стоило одному из них моргнуть, и через пару секунд, как беззвучное эхо, падали и взлетали ресницы другого. Их умные, спокойные глаза были одного и того же оттенка серого. Мне подумалось, что она очень красива – тревожной, почти средневековой красотой, уловить которую не смог бы глаз случайного наблюдателя.

Банни с шумом отодвинул стул и хлопнул меня по спине:

– Ладно, милейший, надо будет нам как-нибудь еще встретиться и поболтать о греческом, да?

– До свидания, – кивнул Генри.

– До свидания, – отозвался я.

Все пятеро не торопясь двинулись к выходу, а мне оставалось лишь стоять и смотреть, как они широкой фалангой покидают библиотеку.

Когда пару минут спустя я зашел в кабинет доктора Роланда, чтобы оставить ксерокопии, то спросил его, не мог бы он выдать мне аванс.

Он медленно откинулся на спинку кресла и навел на меня окуляры слезящихся, с покрасневшими веками глаз.

– Э-э, видишь ли, – сказал он, – в течение последних десяти лет я взял себе за правило этого не делать. И позволь, я объясню тебе почему.

– Я понимаю, сэр, – поспешно вставил я – лекции доктора Роланда на тему его “правил” порой могли длиться полчаса, а то и больше. – Я прекрасно понимаю. Просто это непредвиденные обстоятельства.

Он подался вперед и откашлялся.

– И что же это, интересно, за обстоятельства?

Его сложенные на столе руки оплетали вздувшиеся вены, и кожа вокруг костяшек отливала синюшным перламутром. Я уставился на них, будто видел впервые. Мне было нужно десять – двадцать долларов, нужно позарез, и я открыл рот, совершенно не подумав о том, что буду говорить.

– Да так... У меня возникла одна проблема.

Он выразительно нахмурил брови. Кое-кто из студентов говорил, что доктор Роланд лишь притворяется без пяти минут маразматиком. Я не видел в его поведении ни капли притворства, но порой, стоило утратить бдительность, он поражал неожиданной вспышкой здравомыслия, и хотя зачастую эта вспышка не имела никакого отношения к теме разговора, она все же служила неоспоримым доказательством того, что где-то в илистых глубинах его сознания мыслительный процесс еще вел борьбу за существование.

– Все дело в моей машине, – вдруг озарило меня (никакой машины у меня не было). – Мне нужно отвезти ее в ремонт.

Я не ожидал дальнейших расспросов, но он, напротив, заметно приободрился:

– Что с ней стряслось?

– Что-то с коробкой передач.

– Двухступенчатая? С воздушным охлаждением?

– С воздушным охлаждением, – ответил я, переминаясь с ноги на ногу. Такой поворот разговора мне совсем не нравился. Я ровным счетом ничего не понимаю в машинах и не смог бы даже поменять колесо.

– А что у тебя? Небось одна из этих моделек с шестью цилиндрами?

– Да.

– И дались же вам всем, ребята, эти недомерки. Свое чадо я ни к чему, где меньше восьми цилиндров, и не подпустил бы.

Я просто не знал, что на это ответить.

Он выдвинул ящик стола и начал выуживать все подряд, поднося каждую вещь вплотную к глазам и опуская затем обратно.

– Если полетела коробка передач, то, скажу по опыту, машине конец. Тем более если на ней стоит “V6”. Лучше сразу отправить ее на свалку. Вот у меня “98-ридженси-брогам”, машине десять лет. Так я регулярно показываю ее механику, меняю фильтр через каждые две с половиной тысячи километров и через каждые пять – масло. Бегаёт, как в сказке. Будешь в городе, смотри, поосторожней с этими мастерскими, – выдал он неожиданно суровым тоном.

– Простите?

Он наконец нашел свою чековую книжку и принялся что-то усердно в ней выписывать.

– Конечно, надо было бы сначала отправить тебя в финансовый отдел, но, думаю, можно обойтись и без этого. В Хэмпдене есть пара-тройка таких мест... Если узнают, что ты из колледжа, сразу же заломят двойную цену. “Ридимд рипэйр” в общем-то лучше остальных – они там все возрожденные христиане, но все равно смотри в оба, иначе обдерут тебя как липку.

Он вырвал чек и протянул его мне. Я взглянул на сумму, и сердце мое подпрыгнуло. Двести долларов. Внизу его подпись, все как полагается.

– И смотри не давай им ни цента больше.

– Ни в коем случае, сэр, – пообещал я, едва сдерживая радость.

Что же я буду делать с такой кучей денег? Может, он даже забудет, что дал их мне?

Он сдвинул очки на нос и посмотрел на меня поверх стекол.

– Так, значит, понял? “Ридимд рипэйр”, за городом, на шестом шоссе. Знак в виде креста.

– Спасибо вам.

Я шел по коридору в самом радужном настроении, в кармане лежало двести долларов, и первое, что я сделал, – спустился к телефону и вызвал такси, чтобы поехать в Хэмпден-таун. Если я что-то и умею, так это врать на ходу. Тут у меня своего рода талант.

И как же я провел время в Хэмпден-тауне? Честно говоря, я был слишком потрясен своей удачей, чтобы провести его с толком. День был восхитительным, мне ужасно надоело безденежье, и поэтому, не успев подумать как следует, я первым делом зашел в дорогой магазин мужской одежды на площади и купил пару рубашек. Потом заглянул в лавку Армии спасения и, порывшись в корзинах, отыскал твидовое пальто и коричневые туфли, которые пришлось мне впору, а в придачу к этому запонки и забавный старый галстук с изображением охоты на оленя. Когда я вышел на улицу, то с облегчением обнаружил, что у меня осталось еще около ста долларов. Зайти в книжный? Пойти в кино? Купить бутылку виски? Ласково улыбаясь и что-то щебеча, меня окружила целая стая возможностей, и я стоял, пригвожденный к залитому ясным сентябрьским светом тротуару, пока от этого хоровода удовольствий у меня не начало рябить в глазах. Тогда, словно парень из глубинки, смущенный игривыми взглядами проституток, я метнулся к телефонной будке, разорвав их пестрый круг, и набрал номер такси, чтобы поскорее вернуться в колледж.

Оказавшись у себя в комнате, я разложил покупки на кровати. На запонках были царапины и чьи-то инициалы, но зато они выглядели как настоящее золото и матово поблескивали в ленивых лучах осеннего солнца, собиравшихся в желтые лужи на дубовых досках пола, – роскошно, густо, пьяняще.

Я испытал ощущение дежавю, когда на следующий день Джулиан возник передо мной точь-в-точь как в первый раз, осторожно выглядывая из-за чуть приоткрытой двери, как будто за нею скрывалось что-то нуждавшееся в усиленной охране, нечто совершенно необыкновенное, что он всеми силами старался оградить от посторонних взглядов. В последующие месяцы это чувство посещало меня не раз. Даже сейчас, по прошествии лет, на другом конце страны,

я порой вижу во сне, как стою перед белой дверью и жду, что вот-вот, словно страж сказочных врат, появится он – неподвластный времени, с бдительным взглядом и лукавой улыбкой ребенка.

Увидев, что это я, он отворил дверь несколько шире, чем во время моего первого визита.

– Снова мистер Пипин, если не ошибаюсь?

Я не стал поправлять его.

– Боюсь, что да.

На секунду он сосредоточил на мне взгляд.

– Знаете, у вас замечательная фамилия. Было несколько французских королей по имени Пипин.

– Вы сейчас заняты?

– У меня всегда найдется свободная минутка для наследника французского престола, если только вы действительно им являетесь, – произнес он шутливым тоном.

– Боюсь, что нет.

Он рассмеялся и процитировал коротенькую греческую эпиграмму о том, что честность – опасная добродетель, а затем, к моему удивлению, распахнул дверь и пригласил меня войти.

Комната, в которой я оказался, вовсе не походила на кабинет преподавателя. Полная воздуха и света, с белыми стенами и высоким потолком, она была гораздо больше, чем казалось снаружи. В открытые окна врывался ветерок и играл с накрахмаленными занавесками. В углу, у низкой книжной полки, стоял большой круглый стол, на котором фарфоровые чайники соседствовали с греческими книгами, и повсюду – на этом столе, на подоконниках, на письменном столе Джулиана – были цветы: розы, гвоздики, анемоны. Особенно сильно пахли розы. Их густой запах висел в воздухе, смешиваясь с ароматами бергамота, черного китайского чая и слабым запахом не то чернил, не то камфары. От глубокого вдоха у меня слегка закружилась голова. Куда бы я ни посмотрел, взгляд обязательно выхватывал что-нибудь красивое: восточные коврики, фарфор, похожие на драгоценные камни миниатюры – ослепительный блеск дробящегося цвета. Мне показалось, будто я очутился в одной из тех византийских церквушек с неказистым фасадом, внутреннее убранство которых подобно тончайшей скорлупе из позолоты и смальты, сверкающей подлинными красками рая.

Он сел в кресло у окна и указал мне на стул.

– Полагаю, вы пришли по поводу занятий греческим.

– Да.

Его глаза были скорее серыми, чем голубыми, взгляд был открыт и мягок.

– И вас не смущает, что не за горами середина семестра?

– Я хотел бы продолжить изучение греческого. По-моему, стыдно бросать его после двух лет.

Он поднял брови – высоко и чуть насмешливо – и мельком взглянул на свои сложенные ладони.

– Мне говорили, что вы из Калифорнии.

– Да, – слегка опешив, ответил я.

Кто мог ему об этом сказать?

– У меня мало знакомых с Запада, – сказал он. – Не думаю, что мне там понравилось бы. – Он задумчиво помолчал, словно потревоженный каким-то смутным воспоминанием. – И чем же вы занимаетесь в Калифорнии?

Я выложил ему свою байку. Апельсиновые рощи, угасшие кинозвезды, вечерние коктейли у кромки подсвеченного бассейна, сигареты, сплин. Он слушал, глядя мне в глаза, казалось совершенно очарованный моими фальшивыми воспоминаниями. Еще никогда мои старания не встречали такого искреннего интереса и живого внимания. У него был настолько

завороженный вид, что я поддался искушению и присочинил несколько больше, чем позволяло благоразумие.

– Это так пленительно, – произнес он с теплотой в голосе, когда в состоянии близком к эйфории я наконец выдохся. – Так необычайно романтично.

От столь небывалого успеха меня бросило в жар.

– Ну, для нас в этом нет ничего необычного, вы же понимаете, – сказал я, стараясь подавить волнение.

– И что же человек со столь романтическим складом характера ищет в занятиях классической филологией? – спросил он так, будто, поймав по счастливой случайности такую редкую птицу, как я, просто не может отпустить меня, не услышав ответа.

– Если под романтикой вы понимаете одиночество и самосозерцание, то, на мой взгляд, именно романтики часто оказываются лучшими филологами-классиками, – как мог, извернулся я.

Джулиан рассмеялся.

– Как раз неудавшиеся филологи-классики зачастую становятся великими романтиками. Впрочем, согласитесь, это не имеет отношения к делу. Как вам Хэмпден? Вам здесь нравится?

Я представил довольно пространную экзегезу на тему соответствия колледжа моим нынешним устремлениям.

– Многие молодые люди находят сельскую местность скучной, – заметил он. – И тем не менее пребывание здесь для них далеко не бесполезно. Вы много путешествовали? Расскажите мне о том, что вас сюда привело. Мне показалось, что такого юношу, как вы, расставание с городом способно повергнуть в замешательство. Хотя, возможно, городская жизнь уже успела вас утомить, я не ошибся?

С обезоруживающим обаянием и мастерством он ловко переводил меня с одной темы на другую, и я уверен, что из нашей беседы, длившейся по ощущению несколько минут, но на деле гораздо дольше, он смог извлечь все, что только хотел обо мне знать. Мне и в голову не приходило, что источником его острого интереса могло быть что-то более прозаичное, чем глубочайшее удовольствие от общения со мной. Хотя в какой-то момент я поймал себя на том, что с увлечением разглагольствую о великом множестве материй, в том числе сугубо личных, а моя искренность переходит обычные границы, я был убежден, что сообщаю все это ему по собственной воле. Жаль, что я не запомнил весь наш разговор – вернее, я, конечно, мог бы воспроизвести многое из того, что наговорил, но по большей части это был такой вздор, что вспоминать о нем мне просто-напросто неприятно. Он возразил мне лишь один раз (не считая скептически выгнутой брови в ответ на упоминание о Пикассо; узнав Джулиана чуть ближе, я понял, что это имя прозвучало для него едва ли не личным оскорблением), когда я завел речь о психологии – предмете, о котором не мог не думать хотя бы из-за работы у доктора Роланда.

– Скажите, вы действительно считаете, что психологию можно назвать наукой? – спросил он с озабоченным видом.

– Безусловно. А что же это еще?

– Но ведь еще Платон говорил, что социальное положение, условия быта и тому подобное оказывают на личность необратимое воздействие. Мне кажется, что психология – это лишь еще одно слово для обозначения того, что древние называли судьбой.

– Психология, конечно же, ужасное слово.

– О да, действительно ужасное, – поддержал он меня, при этом на лице у него читалось, что, просто коснувшись этой темы, я опустил до безвкусицы. – Возможно, в каком-то смысле рассуждения об определенном складе ума оказываются бесполезны. Сельские жители, обитающие со мной по соседству, очаровательны, ибо жизнь их так неразрывно связана с судьбой, что может служить подлинным примером предопределенности. Впрочем, – рассмеялся он, –

боюсь, что и мои студенты не вызывают у меня особого интереса, поскольку я могу с точностью предсказать каждый их шаг.

Я был восхищен его манерой вести беседу. Она казалась современной и сбивчивой (на мой взгляд, одна из характерных особенностей человека нашего времени – это страсть уходить в сторону от темы), однако сейчас я понимаю, что, искусно плетя свою речь, он вновь и вновь подводил меня к одним и тем же моментам нашего разговора. Ведь в отличие от современного ума, прихотливого и непоследовательного, античный ум целенаправлен, решителен и неумолим. Подобное мышление не часто встретишь в наши дни. И хотя я могу перескакивать с одного на другое не хуже остальных, я постоянно испытываю навязчивое желание вернуться к сути проблемы.

Через некоторое время беседа иссякла. После короткой паузы Джулиан учтиво произнес:
– Думаю, я был бы рад видеть вас среди моих учеников, мистер Пейпен.

Я задумчиво смотрел в окно, уже не помня толком, зачем сюда пришел, и, услышав эти слова, изумленно уставился на Джулиана, не зная, что ответить.

– Впрочем, есть несколько условий, на которые вы должны согласиться, прежде чем примете мое предложение.

– Что за условия? – спросил я, внезапно насторожившись.

– Завтра вам нужно будет зайти в регистрационный отдел и подать заявление о смене куратора.

Он потянулся за ручкой. Машинально проследив за его рукой, я не поверил глазам. Станчик был набит авторучками “Монблан” серии “Майстерштюк” – их было как минимум полдюжины. Быстро написав записку, он протянул ее мне:

– Не потеряйте. Регистраторы записывают ко мне студентов только по моему личному запросу.

Его уверенный почерк, с буквой “е” на греческий манер, напоминал манеру письма, принятую в девятнадцатом веке. Чернила еще не высохли.

– Э-э, но у меня уже есть куратор.

– Видите ли, я принимаю ученика только вместе с правом его курировать. Остальные преподаватели не согласны с моими методами, и, если какое-либо третье лицо будет уполномочено налагать вето на мои решения, вы столкнетесь с множеством проблем. Вам также будет необходимо заполнить формы, касающиеся смены предметов. Думаю, вам следует отказаться от всего, кроме французского, – его вам лучше оставить. Вам явно не хватает знания современных языков.

Я остолбенел.

– Я не могу отказаться от всех предметов.

– Отчего же?

– Регистрация давно закончена.

– Это ровным счетом ничего не значит, – невозмутимо сказал Джулиан. – Новые предметы, которые вы внесете в свой учебный план, буду преподавать вам я. Скорее всего, мы с вами остановимся на трех-четырех предметах в семестр вплоть до вашего выпуска.

Я озадаченно посмотрел на него. Неудивительно, что у него лишь пятеро студентов.

– Разве это возможно? – спросил я.

Он усмехнулся:

– Боюсь, вы еще плохо знакомы с порядками Хэмпден-колледжа. Администрация, конечно, это не приветствует, но поделать ничего не может. Время от времени они поднимают шум вокруг распределения предметов, но серьезных проблем еще ни разу не возникало. Мы изучаем искусство, историю, философию и многое другое. Если в той или иной области у вас обнаружатся пробелы, вам придется посещать дополнительные занятия, не исключено, что и у другого преподавателя. Поскольку французский – не мой родной язык, я считаю разумным,

чтобы вы изучали его у мистера Лафорга. В следующем году я начну заниматься с вами латынью. Язык этот труден, но знание греческого будет вам хорошим подспорьем. Совершеннейший из языков – латынь. Уверен, занятия ею доставят вам истинное удовольствие.

Его тон слегка меня задевал. Выполнить эти требования означало быть окончательно и бесповоротно переведенным из Хэмпден-колледжа в его маленькую Академию древнегреческого языка – пять студентов, я шестой.

– Вы будете вести у меня все предметы?

– Ну, не то чтобы все, – ответил он серьезным тоном, но тут же рассмеялся, увидев выражение моего лица. – На мой взгляд, избыток учителей разлагает и губит молодые умы. Точно так же я считаю, что глубокое знакомство с одной книгой лучше, чем поверхностное с сотней. Я знаю, современники едва ли со мной согласятся, но все же вспомните – у Платона был всего один учитель, равно как и у Александра.

Я в нерешительности кивнул, подыскивая тактичный путь к отступлению, но тут наши взгляды встретились, и я вдруг подумал: “А почему бы нет?” Сила его личности уже слегка подточила мое здравомыслие, да и само предложение привлекало своим экстремизмом. Его студенты, если только по ним можно было судить о том, что за учитель Джулиан, производили весьма сильное впечатление. При множестве различий все они обладали некой холодной отстраненностью, жестким, отточенным шармом, в котором не было абсолютно ничего от современности, но, напротив, чувствовалось дыхание давно ушедшего мира. Они были восхижительными созданиями – их движения, их лица, весь их облик. Они мне нравились и вызывали у меня зависть, но я понимал, что эти странные качества вовсе не даны им от природы, а достигнуты кропотливыми усилиями. (Позже я обнаружил то же самое у Джулиана. Хотя он, напротив, казался естественным и открытым, непосредственность была здесь ни при чем – впечатление безыскусности создавалось благодаря высочайшему искусству.) Как бы то ни было, я хотел быть таким, как они. У меня захватывало дух при мысли о том, что это возможно и что занятия у Джулиана могут мне в этом помочь. Как далеко все это было от Плано и отцовской бензоколонки!

– А если я буду посещать ваши занятия, все они будут на греческом?

Он вновь рассмеялся.

– Разумеется, нет. Мы изучаем Данте, Вергилия, множество других авторов. Впрочем, вам вряд ли понадобится “Прощай, Колумб”⁸, – (эта книга уже много лет значилась в программе по английскому для первого курса), – если вы простите мне эту маленькую вульгарность.

Лафорг встревожился, когда я сообщил ему о своих планах.

– Все это очень серьезно, – сказал он. – Вы осознаете, что тем самым теряете практически всякую связь с остальным факультетом, да и со всем колледжем?

– Он хороший учитель, – ответил я.

– Даже очень хороший учитель не стоит таких жертв. К тому же учтите, если у вас с ним, чего доброго, возникнут трения или он обойдется с вами несправедливо, решительно никто из администрации не сможет вам помочь. Простите, но я не вижу смысла платить тридцать тысяч долларов за занятия с одним-единственным преподавателем.

Мне пришло в голову, что с этим вопросом следовало бы обратиться в Дарственный фонд Хэмпден-колледжа, но я оставил эту мысль при себе.

– Надеюсь, вы меня извините, – продолжил Лафорг, – но мне казалось, что его аристократические взгляды должны были бы вас оттолкнуть. Честно говоря, я в первый раз слышу, что

⁸ “Прощай, Колумб” – первая книга американского писателя Филипа Рота, за которую в 1960 году он получил Национальную книжную премию.

он берет студента, который почти полностью зависит от финансовой помощи. Хэмпден-колледж как демократическое заведение основывается на иных принципах.

– По-моему, он не такой уж и аристократ, раз согласился взять меня.

Он не уловил моего сарказма.

– Я склонен предполагать, что он просто не догадывается о том, кто платит за ваше обучение, – произнес он серьезным тоном.

– Ну и ладно, если он не знает, я ему говорить не собираюсь.

Джулиан проводил занятия у себя в кабинете. Его маленькая группа легко там размещалась, а кроме того, в кабинете было спокойно и уютно, как ни в одной из аудиторий колледжа. Его теория гласила, что обучение лучше проходит в приятной, неформальной обстановке, и превращенный в роскошную оранжерею кабинет, полный цветов в середине зимы, был воплощением его представлений об идеальном учебном помещении, чем-то вроде платоновского микрокосма. (“Работа? – крайне удивился он, когда однажды я отозвался так о наших занятиях. – Вы действительно считаете, что это работа? – А что же еще? – Лично я назвал бы все это великолепнейшей игрой”.)

Отправляясь на первое занятие, я увидел Фрэнсиса Абернати. Черной птицей он шагнул через луг, и полы его пальто, точно крылья, угрюмо хлопали на ветру. Он курил и, казалось, совершенно не обращал ни на что внимания, однако мысль о том, что он может меня заметить, наполнила меня необъяснимым беспокойством. Я нырнул в подъезд и подождал, пока он не пройдет мимо.

Я опешил, когда, поднявшись на лестничную площадку Лицея, увидел его сидящим на подоконнике. Едва взглянув на него, я быстро отвел глаза и уже почти свернул в коридор, как вдруг он окликнул меня:

– Постой.

Бостонский, почти британский акцент, голос ровный, тон слегка надменный. Я обернулся.

– Так это ты новый *neanias*? – насмешливо спросил он.

Новый юноша. Я ответил, что да, это я.

– *Cubitus eamus*?⁹

– Что?

– Ничего.

Он переложил сигарету в левую руку и подал правую мне. Ладонь у него была костлявой, с нежной, как у девушки, кожей.

Представиться он не потрудился. После нескольких секунд неловкого молчания я назвал свое имя.

Он сделал последнюю затяжку и щелчком отправил окурочек в распахнутое окно.

– Я знаю, как тебя зовут.

Генри и Банни уже были в кабинете. Генри читал, а Банни, перегнувшись через стол, что-то громко и с жаром ему втолковывал:

– ...безвкусица, вот что это такое, старина. Я разочарован. Думал, в плане *savoir faire*¹⁰ у тебя все-таки получше, извини, конечно, за прямоту...

– Доброе утро, – сказал Фрэнсис, входя вслед за мной и закрывая дверь.

Мельком взглянув на нас, Генри кивнул и снова уткнулся в книгу.

– О, кто к нам пожаловал, – бросил мне Банни и сразу переключился на Фрэнсиса: – Ты в курсе? Генри купил себе “Монблан”.

⁹ Пойдем возляжем? (лат.)

¹⁰ Здесь: умение жить (фр.).

– Да, и что?

Банни кивнул на стол Джулиана, где стоял стаканчик с черными глянцевыми ручками:

– Я уже сказал, чтоб он был поосторожней, а то Джулиан подумает, что он ее украл.

– Он был со мной, когда я ее покупал, – сказал Генри, не отрываясь от книги.

– А кстати, сколько такие стоят? – спросил Банни.

Ни слова в ответ.

– Нет, ну сколько? Триста баксов штука? – Он навалился на стол всем своим внушительным весом. – Помнится, ты говорил, что они просто безобразны. Говорил, что в жизни не будешь писать ничем, кроме обычной перьевой ручки. Было дело?

Молчание.

– Дай-ка я взгляну еще разок.

Опустив книгу, Генри полез в нагрудный карман, достал ручку и положил ее на стол. Банни повертел ее в руках:

– Похоже на те толстые карандаши, которыми я писал в первом классе. Это ведь Джулиан присоветовал тебе купить ее?

– Я хотел купить авторучку.

– И вовсе не поэтому ты купил именно “Монблан”.

– Мне надоел этот разговор.

– По мне, это просто безвкусица.

– Не тебе рассуждать о вкусе, – отрезал Генри.

Воцарилась тишина. Банни соскользнул обратно на стул.

– Ну-ка, давайте посмотрим, кто у нас чем пишет? – объявил он, приглашая всех к обсуждению этого вопроса. – Франсуа, ты ведь, как и я, приверженец простого пера и чернильницы, правда?

– Более-менее.

Он указал на меня жестом ведущего ток-шоу:

– А ты, как тебя там, Роберт? Какими ручками тебя учили писать в Калифорнии?

– Шариковыми, – ответил я.

Банни со вздохом кивнул, едва не коснувшись груди подбородком:

– Перед нами честный человек, джентльмены. Его пристрастия просты. Одним махом все карты на стол. Мне это нравится.

Дверь распахнулась, и вошли близнецы.

– По какому поводу столько крика, Бан? – со смехом воскликнул Чарльз, закрыв дверь ногой. – Тебя слышно на весь коридор.

Банни пустился в пересказ истории с “Монбланом”. Чувствуя себя крайне неловко, я забился в угол и принялся разглядывать корешки книг в шкафу.

– Как долго ты изучал античную филологию? – раздался голос у моего локтя.

Это был Генри. Он повернулся на стуле и теперь смотрел на меня.

– Два года, – ответил я.

– Что ты читал на греческом?

– Новый Завет.

– Ну разумеется, ты знаком с койне¹¹, – раздраженно бросил он. – Что еще? Само собой, Гомера. И лириков.

Лирики, я слышал, были коньком Генри. Врать я не рискнул:

– Немного.

– И Платона.

– Да.

¹¹ *Койне* – общегреческий язык эллинистически-римского периода (конец IV в. до н. э. – IV в. н. э.).

– Всего Платона?

– Кое-что из него.

– Но всего Платона в переводе.

Я замешкался – чуть дольше положенного. Он недоверчиво посмотрел на меня:

– Нет?

Я спрятал руки в карманы своего нового пальто.

– Большую часть, – сказал я, что было далеко от действительности.

– Что насчет александрийских неоплатоников? Плотина?

– Да, – соврал я (я и по сей день не прочел ни строчки из Плотина).

– Какие трактаты?

К несчастью, в голове у меня воцарилась абсолютная пустота. Что написал Плотин? Кажется, что-то на Э...¹² “Эклоги”? Нет, черт побери, это Вергилий.

– Вообще-то, Плотин мне не очень интересен.

– Да? Почему же?

Он задавал вопросы, как следователь на дознании. Я едва ли не с тоской подумал о предмете, который шел у меня в это время раньше: “Основы драматического искусства” у мистера Лэйнина, добрейшей души человека. Лежа на полу, мы должны были пытаться достичь “полной релаксации”, а он расхаживал между нами и выдавал фразы вроде “А теперь представьте, что ваше тело наполняется прохладной оранжевой жидкостью”.

Очевидно, я слишком затянул с ответом на вопрос о Плотине. Генри что-то быстро сказал по-латыни.

– Прошу прощения?

Он холодно взглянул на меня.

– Ничего особенного, – обронил он и вновь ссутулился над книгой.

– Ну что, теперь счастлив? – услышал я голос Банни. – Уделал его по полной программе, ага?

Я отвернулся к полке, чтобы скрыть смятение.

К моему огромному облегчению, ко мне подошел поздороваться Чарльз. Он был спокоен и дружелюбен, однако едва мы обменялись приветствиями, как отворилась дверь и все затихло. На пороге появился Джулиан.

– Доброе утро, – сказал он, осторожно прикрыв дверь. – Вы уже познакомились с нашим новым студентом?

– Да, – ответил Фрэнсис, помогая сесть Камилле и проворно усаживаясь сам. Тон его, как мне показалось, говорил, что ничего более скучного и придумать нельзя.

– Прекрасно. Чарльз, ты не поставишь воду для чая?

Чарльз направился в маленький, не больше шкафа, закуток.

Послышался звук льющейся воды. (Для меня так и осталось загадкой, что именно было в том закутке, а также каким чудом Джулиану удавалось порой извлекать оттуда обеды из четырех блюд.) Чарльз вышел и, закрыв дверь, вернулся на место.

– Ну что же, – сказал Джулиан, окинув нас взглядом, – надеюсь, все готовы покинуть мир вещей и явлений и вступить в область высокого?

Он был изумительным, просто волшебным оратором. Как хотелось бы мне воссоздать на этих страницах всю магию его лекций! Увы, человек с посредственными способностями не в состоянии, особенно по прошествии стольких лет, передать своеобразие и очарование речи того, кто одарен интеллектом в исключительной мере. В тот день речь шла о четырех видах

¹² Плотин, философ-неоплатоник III в. н. э., написал 54 трактата, которые его ученик Порфирий разделил на шесть групп (Эннеад), по девять трактатов в каждой. Сочинения Плотина чаще всего издаются в порядке “Эннеад”.

божественного безумия у Платона и безумии вообще. Он начал беседу с того, что называл бременем эго.

– Тихий настойчивый голос у нас в голове – почему он так мучает нас? – спросил он и выдержал паузу. – Может быть, он напоминает нам о том, что мы живы, что мы смертны, что каждый из нас наделен неповторимой душой, расстаться с которой мы так боимся, хотя она-то и заставляет нас чувствовать себя несчастней всех прочих созданий? Кроме того, что, как не боль, обостряет наше ощущение самости? Ужасно, когда ребенок вдруг осознает, что он – обособленное от всего мира существо, что никто и ничто не страдает, когда он обжег язык или ободрал коленку, что его боль принадлежит лишь ему одному. Еще ужаснее, когда с возрастом начинаешь осознавать, что ни один, даже самый близкий и любимый человек никогда не сможет понять тебя по-настоящему. Эго делает нас крайне несчастными, и не потому ли мы так стремимся от него избавиться? Помните эриний?

– Фурии, – сказал Банни. Его замороженные глаза были едва видны из-под нависшей пряди волос.

– Именно. Помните, как они доводили людей до безумия? Они заставляли внутренний голос звучать слишком громко, возводили присущие человеку качества в непомерную степень. Люди становились настолько самими собой, что не могли этого вынести.

Так как же все-таки избавиться от этого грозящего потерей рассудка эго, как полностью освободиться от него? Любовь? Но, как, по свидетельству старого Кефала, однажды сказал Софокл, лишь немногие сознают, что любовь – властитель жестокий и страшный¹³. Один забывает себя ради другого, но при этом становится жалким рабом своенравнейшего из богов. Война? Можно забыться в экстазе битвы, сражаясь за славное дело, но в наши дни осталось не так уж много славных дел, за которые стоило бы сражаться. – Он рассмеялся. – Впрочем, осмелюсь заметить, после всего нашего Ксенофонта и Фукидида мало кто из молодых людей сравнится с вами во владении военной тактикой. Уверен, при желании вы вполне могли бы выступить маршем на Хэмпден-таун и захватить его без посторонней помощи.

Раздался смех Генри:

– Мы могли бы сделать это сегодня же, вшестером.

– Как? – воскликнули все в один голос.

– Один блокирует линии связи и электропередачи, другой берет под контроль мост через Бэттенкил, третий – выезд из города по главной дороге на север. Остальные движутся с юга и запада. Нас мало, но, если рассредоточиться, мы могли бы перекрыть все пути, ведущие в город, – он поднял ладонь, растопырив пальцы, – и окружить центр со всех сторон. – Пальцы сомкнулись в кулак. – Конечно, у нас было бы преимущество внезапности, – добавил он, и от бесстрастного звучания его голоса мне неожиданно стало не по себе.

Джулиан издал короткий смешок:

– Сколько же лет прошло с тех пор, как боги в последний раз вмешивались в людские войны? Думаю, Аполлон и Афина Победоносная непременно сошли бы на землю, чтобы сражаться на вашей стороне, “званные или незванные”, как возвестил дельфийский оракул лакедемонянам¹⁴. Только вообразите, какие бы вышли из вас герои.

– Наполовину равные богам, – со смехом отозвался Фрэнсис. – Мы бы восседали на тронах на главной площади города.

– А местные купцы несли бы дань к вашим стопам.

¹³ “...Поэту Софоклу был при мне задан такой вопрос: “Как ты, Софокл, насчет любовных утех? Можешь ли ты еще иметь дело с женщиной? – Помолчал бы ты, право, – отвечал тот, – я с величайшей радостью ушел от этого, как уходит от яростного и лютого повелителя” (Платон. Государство, 1,329. Перевод А. Егунова).

¹⁴ “Сами лакедемоняне... отправили посольство в Дельфы спросить бога: разумно ли им начинать войну или нет. А бог, как говорят, изрек в ответ: если они будут вести войну всеми силами, то победят, а сам он – званный или незванный – будет на их стороне” (Фукидид. История 118. Перевод Г. Стратановского).

- Золото. Павлинов и слоновую кость.
- Скорее уж чеддер и крекеры, – вмешался Банни.

– Нет ничего ужасней кровопролития, – поспешно сказал Джулиан (замечание о крекерах ему явно не понравилось), – но ведь именно наиболее кровавые места у Гомера и Эсхила зачастую оказываются самыми великолепными. Например, та восхитительная речь Клитемнестры в “Агамемноне”, которая мне так нравится. Камилла, ты была нашей Клитемнестрой, когда мы ставили “Орестею”. Помнишь что-нибудь оттуда?

Свет из окна бил ей прямо в лицо. При таком сильном освещении большинство людей выглядит блекло, но ее чистые, четкие черты словно бы светились изнутри, так что от взгляда на нее перехватывало дыхание. Я сидел и смотрел на ясные, лучистые глаза и густые ресницы, на висок, где маленькое озерцо золота постепенно растворялось в ровном и теплом, как мед, блеске волос.

- Немного помню.

Глядя на стену чуть выше моей головы, она начала декламировать на греческом. Я не сводил с нее глаз. Интересно, есть ли у нее друг? Может быть, как раз Фрэнсис? Они явно были накоротке, хотя Фрэнсис не производил впечатления человека, которого очень интересуют девушки. В любом случае у меня не было никаких шансов, ведь ее окружали все эти богатые продвинутые ребята в темных костюмах. Куда мне до них, с моими неловкими движениями и манерами провинциала.

Ее голос, с легкой хрипотцой, звучал низко и пленительно.

Так он, с хрипеньем, в красной луже отдал дух;
И вместе с жизнью, хлынув из гортани, столб
Горячей крови обдал мне лицо волной –
Столь сладостной, как теплый ливень сладостен
Набухшим почкам, алчущим расторгнуть плен...¹⁵

Отзвучало последнее слово, и на несколько секунд воцарилась тишина. К моему удивлению, Генри, сидевший напротив Камиллы, торжественно ей подмигнул.

Джулиан улыбнулся:

– Прекрасный отрывок. Я готов слушать его снова и снова. Однако как получается, что эта ужасная сцена – царица, кинжалом убивающая своего мужа в ванне, – так восхищает нас?

– Дело в размере, – сказал Фрэнсис. – Сенарий размечает речь Клитемнестры, как набат.

– Но согласитесь, что для греческой поэзии в шестистопном ямбе нет ничего необычного, – возразил Джулиан. – Почему же нас захватывает именно этот отрывок? Почему нас не привлекают сцены более спокойные и приятные?

– В “Поэтике” Аристотель говорит, – подал голос Генри, – что вещи, отталкивающие сами по себе, например трупы, способны восхищать зрителя, когда они запечатлены в произведениях искусства.

– И на мой взгляд, Аристотель прав. Подумайте сами – какие сцены в античной литературе мы помним и любим больше всего? Ответ очевиден. Убийство Агамемнона и гнев Ахилла. Дидона на погребальном костре. Кинжалы заговорщиков и кровь Цезаря. Помните то место у Светония, где тело Цезаря, со свисающей рукой, уносят на носилках?

– Или взять все по-настоящему жуткие места из “Ада” Данте, – оживился Фрэнсис. – Безносый Пьер да Медичина, говорящий через окровавленную щель в гортани...

– Я могу вспомнить кое-что и похуже, – заметил Чарльз.

– Смерть – мать красоты, – изрек Генри.

¹⁵ Эсхил. Агамемнон. 1388–1392. Перевод Вяч. Иванова.

– А что же тогда красота?

– Ужас.

– Хорошо сказано, – кивнул Джулиан. – Красота редко несет покой и утешение. Напротив. Подлинная красота всегда тревожит.

Я посмотрел на Камиллу, на ее освещенное солнцем лицо и вспомнил ту знаменитую строчку из «Илиады» об очах Афины, горящих страшным огнем¹⁶.

– Но если красота – это ужас, то что же тогда желание? – спросил Джулиан. – Нам кажется, что мы желаем многого, но в действительности мы хотим лишь одного. Чего же?

– Жить, – ответила Камилла.

– Жить вечно, – добавил Банни, не отрывая подбородок от ладони.

Из закутка послышался свист чайника.

Когда расставили чашки и Генри с церемонностью китайского мандарина разлил чай, мы заговорили о безумии, насылавшемся богами на людей, – поэтическом, провидческом и, наконец, дионисийском.

– Которое окружено гораздо большей тайной, чем все остальные, – сказал Джулиан. – Мы привыкли считать, что религиозный экстаз встречается лишь в примитивных культурах, однако зачастую ему оказываются подвержены именно наиболее развитые народы. Греки, как вы знаете, не слишком сильно отличались от нас. Они были в высшей степени цивилизованны, придерживались сложной и довольно строгой системы норм и правил. Тем не менее они часто впадали в дикое массовое исступление: буйство, видения, пляски, резня. Я полагаю, все это показалось бы нам неизлечимым, клиническим сумасшествием. Однако греки, во всяком случае некоторые из них, могли произвольно погружаться в это состояние и произвольно же из него выходить. Мы не можем просто так отмахнуться от свидетельств на этот счет. Они вполне неплохо документированы, хотя древние комментаторы и были озадачены не меньше нас. Некоторые полагают, что дионисийское неистовство было результатом постов и молитв, другие – что причиной всему вино. Несомненно, коллективная природа истерии тоже играла какую-то роль. И все же крайние проявления этого феномена по-прежнему необъяснимы. Участников таинств, образно говоря, отбрасывало в бессознательное, предшествовавшее появлению разума состояние, где личность замещалась чем-то иным и под “иным” я подразумеваю нечто неподвластное смерти. Нечто нечеловеческое.

Мне вспомнились “Вакханки”. От первобытной жестокости этой пьесы, от садизма ее кровожадного бога мне в свое время стало не по себе. По сравнению с другими трагедиями, где правили пусть суровые, но все же осмысленные принципы справедливости, это было торжество варварства над разумом, зловещий и недоступный пониманию триумф хаоса.

– Нам нелегко признаться в этом, – продолжил Джулиан, – но именно мысль об утрате контроля больше всего притягивает людей, привыкших постоянно себя контролировать, людей, подобных нам самим. Все истинно цивилизованные народы становились такими, целенаправленно подавляя в себе первобытное, животное начало. Задумайтесь, так ли уж сильно мы, собравшиеся в этой комнате, отличаемся от древних греков или римлян? С их одержимостью долгом, благочестием, преданностью, самопожертвованием? Всем тем, от чего наших современников бросает в дрожь?

Я обвел взглядом лица шести человек, сидящих за столом. Кое-кого из современников, пожалуй, действительно пробила бы дрожь. Любой другой преподаватель немедленно кинулся бы названивать в службу психологической поддержки, услышь он, как Генри излагает план наступления на Хэмпден вооруженных античников.

¹⁶ “Он [Ахилл] ужаснулся и, вспять обратясь, познал несомненно Дочь громовержцеву: страшным огнем ее очи горели”. Илиада, 1,199–200; здесь и далее цитируется в переводе Н. Гнедича.

– Для всякого разумного человека, особенно если он, подобно древним грекам и нам, стремится к совершенству во всем, попытка убить в себе ненасытное первобытное начало представляет немалое искушение. Но это ошибка.

– Почему? – спросил Фрэнсис, слегка подавшись вперед.

Джулиан удивленно приподнял бровь. Длинный тонкий нос придавал его профилю сходство с этрусским барельефом.

– Потому что игнорировать существование иррационального опасно. Чем более развит человек, чем более он подчинен рассудку и сдержан, тем больше он нуждается в определенном русле, куда бы он мог направлять те животные побуждения, над которыми так упорно стремится одержать верх. В противном случае эти и без того мощные силы будут лишь копиться и крепнуть, пока наконец не вырвутся наружу – и окажутся тем разрушительнее, чем дольше их сдерживали. Противостоять им зачастую не способна никакая воля. В качестве предостережения относительно того, что случается, если подобный предохранительный клапан отсутствует, у нас есть пример римлян. Римские императоры. Вспомните Тиберия, уродливого пасынка, стремившегося ни в чем не уступать своему отчиму, императору Августу. Представьте себе то невероятное, колоссальное напряжение, которое он должен был испытывать, следуя по стопам спасителя, бога. Народ ненавидел его. Как бы он ни старался, он всегда оставлял желать лучшего. Ненавистное эго всегда оставалось с ним, и в конце концов ворота шлюза прорвало.

Забросив государственные дела и поселившись на Капри, он предался дикому разврату и умер безумным, презираемым всеми стариком. Был ли он хотя бы счастлив там, на острове, в своих садах наслаждений? Нет, напротив, – постыл и отвратителен самому себе. Еще за несколько лет до кончины он начал письмо в сенат такими словами: “Как мне писать вам, отцы сенаторы, что писать и чего пока не писать? Если я это знаю, то пусть волей богов и богинь я погибну худшей смертью, чем погибаю вот уже много дней”¹⁷. Вспомните тех, кто пришел вслед за ним. Калигулу. Нерона.

Он помолчал.

– Гением Рима и, возможно, тем, что его погубило, была страсть к порядку. В римской архитектуре, литературе, законах хорошо видно это бескомпромиссное отрицание тьмы, бессмыслицы, хаоса. – Он усмехнулся. – Понятно, почему римляне, обычно столь терпимые к чужим религиям, безжалостно преследовали христиан. Как нелепо полагать, что обычный преступник восстал из мертвых! Как отвратителен обычай чествовать его, передавая по кругу чашу с его кровью! Нелогичность этой религии пугала их, и они делали все возможное, чтобы ее искоренить. Я думаю, они шли на столь решительные меры не только потому, что она внушала им страх, но и потому, что она ужасно их привлекала. Прагматики бывают на удивление суеверны. Несмотря на всю их логику, римляне тряслись от страха перед сверхъестественным.

У греков все было иначе. Питая, подобно римлянам, страсть к симметрии и порядку, они тем не менее сознавали, как глупо отрицать невидимый мир и древних богов. Необузданные эмоции, варварство, мрак. – Смутное беспокойство проступило на лице Джулиана, и секунду-другую его взгляд блуждал по потолку. – Помните, мы только что говорили о том, как страшные, кровавые вещи могут быть необыкновенно прекрасны? Это очень греческая и очень глубокая мысль. В красоте заключен ужас. Все, что мы называем прекрасным, заставляет нас содрогаться. А что может быть более ужасающим и прекрасным для духа, подобного греческому или нашему, чем всецело утратить власть над собой? На мгновение сбросить оковы бытия, превратить в груды осколков наше случайное, смертное “я”. Помните, как Еврипид описывает менад? Голова запрокинута назад, горло обращено к звездам, “так лань играет, радуясь роскошной зелени лугов”¹⁸. Быть абсолютно свободным... Конечно, можно найти и другие,

¹⁷ Светоний. Жизнь двенадцати цезарей, III, 67. Перевод М. Гаспарова.

¹⁸ Еврипид. Вакханки. Перевод Ф. Зелинского.

более грубые и менее действенные способы нейтрализовать эти губительные страсти. Но как восхитительно выпустить их в одном порыве! Петь, кричать, танцевать босиком в полуночной чаще – без малейшего представления о смерти, подобно зверям. Эти таинства обладают необычайной силой. Рев быков. Вязкие струи меда, вскипающие из-под земли. Если нам хватит силы духа, мы можем разорвать завесу и созерцать обнаженную, устрашающую красоту лицом к лицу. Пусть Бог поглотит нас, растворит нас в себе, разорвет наши кости, как нитку бус. И затем выплюнет нас возрожденными.

Теперь уже все мы замерли и сидели подавшись вперед. Я заметил, что у меня открыт рот и я слышу каждый свой вдох.

– Это, на мой взгляд, и есть страшный соблазн дионисийских мистерий. Нам трудно представить себе это пламя чистого бытия.

После занятия я спустился вниз как во сне. Голова шла кругом, но при этом я с болезненной остротой ощущал, что я молод и полон сил и передо мной распахнул объятия чудный день – невыносимая синева неба, ветер, разбрасывающий желтые и красные листья пригоршнями конфетти.

“В красоте заключен ужас. Все, что мы называем прекрасным, заставляет нас содрогаться”.

В тот вечер я записал в дневнике:

Деревья охвачены шизофренией и постепенно теряют власть над собой – их новый пылающий цвет свел их с ума. Кто-то, кажется Ван Гог, сказал, что оранжевый – цвет безумия. Красота есть ужас. Мы хотим быть поглощенными ею, хотим найти прибежище в ее очищающем пламени.

Я зашел на почту и, все еще чувствуя непонятный туман в голове, нацарапал открытку матери. Огненно-красные клены и горный поток, на обратной стороне рекомендация: “Если вы хотите насладиться зрелищем листопада в Вермонте, лучше всего предпринять поездку в период с 25.09 по 15.10, когда он особенно живописен”.

Когда я опускал ее в щель для иногородних писем, то заметил в другом конце зала Банни. Стоя спиной ко мне, он изучал ряды пронумерованных ящичков. Он остановился примерно там, где находился мой собственный, и, наклонившись, что-то туда опустил. Украдкой оглядевшись, он выпрямился и быстро вышел – руки, как обычно, в карманах брюк, волосы болтаются, падая на глаза.

Я подождал, пока он не исчез, и подошел к ящичку. Внутри лежал конверт кремового цвета. Он был новенький, из толстой бумаги, и выглядел очень официально, однако мое имя было написано карандашом, а почерк был детским и неразборчивым, как у пятиклассника. Карандашом была написана и сама записка – маленькие, кривые, разбегающиеся буковки:

Ричард Старик!

Как ты Насчет пообедать в Субботу, где-то около часа? Я тут знаю одно Класное местечко. Коктейли, все дела. Замой счет. Буду рад тебя видеть, твой Бан

PS надень Галстук. Ты б его конечно и так надел просто если без него они тебе Нацепят черт знает что из бабушкиного Сундука.

Я перечитал записку и положил ее в карман. Выходя наружу, я чуть было не столкнулся в дверях с доктором Роландом. Сначала мне показалось, что он меня и знать не знает. Но едва я подумал, что мне удалось улизнуть, как скрипучий механизм его лица пришел в движение и откуда-то с пыльной верхотуры, дергаясь и зависая в воздухе, показался картонный задник к сцене узнавания.

– Добрый день, доктор Роланд, – сказал я, оставляя последнюю надежду.

– Ну, как она поживает, дружок?

Он имел в виду мою воображаемую машину. Кристину. Кристи-поддай-газку.

– Прекрасно.

– Возил ее в “Ридимд рипэйр”?

– Да.

– Проблема с коллектором, так?

Я подтвердил и только потом вспомнил, что до этого говорил ему о коробке передач. Но доктор Роланд уже начал развернутую лекцию на тему назначения и срока службы прокладки коллектора.

– Вот это-то и есть, – подытожил он, – одна из главных проблем с иномарками. Таким манером можно израсходовать море масла. Канистра за канистрой, а масло, между прочим, на деревьях не растет.

Он многозначительно воззрился на меня:

– Кто, ты говоришь, продал там тебе прокладку?

– Я уже не помню, – ответил я, впадая от скуки в транс, но все же стараясь незаметно двигаться к выходу.

– Наверно, Бад?

– Да, кажется, он.

– Или Билл. Билл Ханди – парень что надо.

– По-моему, это был Бад.

– Ну и как тебе эта старая сорока?

Я мог только гадать, относилось ли это к Баду или к какой-то настоящей сороке, а может быть, мы уже вступили во владения старческого маразма. Иногда было трудно поверить, что доктор Роланд состоит штатным преподавателем в колледже такого ранга. Он скорее напоминал одного из тех болтливых старикашек, которые, оказавшись рядом с тобой в автобусе, непременно начинают показывать всякие памятные клочки, которые годами хранят в бумажниках.

Он углубился в повторное рассмотрение некоторых пунктов только что прочитанной лекции о прокладках. Я ждал удобного момента, чтобы вдруг вспомнить о назначенной встрече, но тут, опираясь на палочку и сияя улыбкой, к нам подковылял большой друг доктора Роланда доктор Бленд. Доктору Бленду было под девяносто, и в течение последних лет пятидесяти он читал курс “Инвариантные подпространства”. Курс этот славился монотонностью и практически абсолютной недоступностью для восприятия, а кроме того, тем, что заключительный тест всегда состоял из одного-единственного вопроса. Вопрос был длиной в три страницы, но правильным ответом неизменно было “да”. Это все, что нужно было знать, чтобы не провалиться по инвариантным подпространствам.

Он был, если только это возможно, еще большим любителем почесать язык, чем доктор Роланд. Вместе они походили на супергероев из какого-нибудь комикса – непобедимый, блистательный дуэт бестолковщины и занудства. Я пробормотал “извините” и ускользнул, оставив их наедине с их грозными замыслами.

Глава 2

Я надеялся, что в день нашего с Банни обеда будет прохладно, так как мой лучший пиджак был из темного кусачего твида, но в субботу, когда я проснулся, на улице уже стояла жара и было понятно, что это только начало.

– Ну и пекло сегодня будет, – сказала мне в коридоре уборщица, когда я проходил мимо. – Бабье лето.

Пиджак был роскошный (из ирландской шерсти, серый в темно-зеленую крапинку; я купил его в Сан-Франциско, выложив все, что скопил на летних подработках), но для такого жаркого дня он был явно слишком теплым. Я надел его и отправился в ванную повязать галстук.

У меня не было ни малейшего желания вступать в разговоры, и я был неприятно удивлен, застав в ванной Джуди Пуви – стоя у раковины, она чистила зубы. Джуди жила через пару комнат от меня. Кажется, у нее сложилось представление, что, раз она из Лос-Анджелеса, у нас должно быть много общего. Она подкарауливала меня в коридорах, чуть не силком выволакивала танцевать на вечеринках и даже заявила своим подружкам, что собирается со мной переспать (употребив при этом менее деликатное выражение). Она носила безумную одежду, красила волосы под седину и разъезжала в красном “корвете” с буквами ДЖУДИ П. на калифорнийских номерах. Ее громкий голос разносился по общежитию, как крики какой-нибудь тропической птицы.

– Привет, Ричард, – сказала она и сплюнула белую жижу. На ней были обрезанные джинсы, причудливо разрисованные маркером, и спандексовый топик, открывавший натренированную аэробикой талию.

– Привет, – буркнул я, углубившись в завязывание галстука.

– Здорово выглядишь.

– Спасибо.

– У тебя свидание?

– Чего?

– Говорю, куда собрался?

Я уже успел привыкнуть к ее расспросам.

– На обед.

– О! И с кем же?

– С Банни Коркораном.

– Ты знаешь Банни?

– Ну знаю. А ты?

– Еще бы. Мы с ним на истории искусства рядом сидели. Классный парень, с ним не соскучишься. Я вот только терпеть не могу его приятеля. Мерзкий такой тип, тоже в очках, как его там?

– Генри?

– Ага, он самый. По-моему, просто засранец.

Она наклонилась к зеркалу и принялась взбивать волосы, поворачивая голову и так и эдак. Ногти у нее были покрыты ядовито-красным лаком, впрочем, по их непомерной длине можно было заподозрить, что они накладные.

– Мне он вообще-то нравится, – сказал я, почувствовав себя оскорбленным.

– А мне – нет.

Она разделила волосы на пробор при помощи ногтя указательного пальца.

– Вел себя со мной как последняя сволочь. И близнецы эти меня тоже бесят.

– Почему? Близнецы очень милые.

– Да ну? – сказала она, выпучив густо подведенный глаз на мое отражение в зеркале. – Ладно, так и быть, расскажу. Короче, в прошлом семестре я была на одной вечеринке – напилась там, танцевала, как корова на льду, в общем, сам знаешь. Там все, понятно, толкались как не знаю кто, а эта девица, ну близняшка, зачем-то шла через зал, и – бац! – я на нее налетела. Тут она ни с того ни с сего что-то такое мне сказала, жутко грубое, ну а я чисто на автомате плеснула ей пивом в лицо. Вечеринка такая была – меня тогда уже раз шесть облили, но я ж не стала из-за этого хай поднимать, правильно?

Так вот, она давай возмущаться, и тут раз – откуда ни возьмись ее брат и этот Генри, а главное, оба с таким видом, как будто вот-вот по стенке меня размажут. – Она откинула волосы со лба, собрала их в хвост и внимательно осмотрела себя в зеркале. – Короче, я едва держусь на ногах, а эти двое на меня зверски так смотрят. Выглядело это все стремно, но мне уже было все по фигу, так что я просто послала их в жопу. – Она лучезарно улыбнулась. – Я там пила “камикадзе”. Всегда, когда пью “камикадзе”, выходит какая-нибудь фигня. То машину помну, то в драку ввяжусь...

– А дальше-то что?

Она пожала плечами:

– Говорю, я просто послала их в жопу. И близнец – тот начал на меня орать так, как будто сейчас и вправду возьмет и убьет. А этот Генри, он просто стоял, но его я испугалась еще больше, чем близнеца. Так вот, там был один мой приятель, крутой такой, из байкерской банды, весь в цепях и всей этой хрени, – Спайк Ромни. Может, слышал?

Я слышал. Собственно говоря, я даже его видел – на моей первой пятничной вечеринке. Это был гигантский боров, килограммов сто двадцать, не меньше, со шрамами на руках и стальными нашлепками на носках мотоциклетных ботинок.

– Короче, Спайк подходит, видит, что на меня наезжают, пихает близнеца и говорит, чтоб тот отвалил. Я глазом не успела моргнуть, как они оба на него набросились. Народ там пытался их разнять – куча народу! – и ни хрена! Шесть человек не могли оттащить этого Генри – сломал Спайку ключицу, два ребра, а лицо разворотил просто в мясо. Я Спайку говорила потом, что надо пойти в полицию, но у него самого тогда были проблемы, и вообще-то ему нельзя было появляться на кампусе. Все равно фигово вышло. – Она отпустила хвост, и волосы упали ей на плечи. – Я к чему: Спайк, он здоровый. И вдобавок без тормозов. Так посмотреть, он одной рукой мог бы задницу надрать этим умникам в костюмах и галстучках.

– Хмм, – произнес я, пытаясь удержаться от смеха. Забавно было думать, что Генри сломал ключицу Спайку Ромни – Генри, в своих круглых очочках и с книгами на пали под мышкой.

– Тут не поймешь, – сказала Джуди. – Я думаю, когда такие все из себя правильные люди срываются, у них реально крышу сносит. У меня вот отец такой.

– Да, похоже на то, – ответил я, поправляя узел галстука.

– Ну, удачи, – равнодушно бросила она и направилась к двери, но вдруг остановилась. – Слушай, а ты не запаришься в этом пиджаке?

– Это мой единственный приличный.

– У меня там валяется один, хочешь примерить?

Я оторвался от зеркала. Джуди специализировалась на дизайне театральных костюмов, и у нее в комнате было полно всякой странной одежды.

– Он твой?

– Я стащила его из костюмерной. Собиралась обрезать и сделать что-то типа бюстье.

Ну-ну, подумал я, но все равно пошел к ней.

Пиджак, вопреки ожиданиям, оказался замечательным – *Brooks Brothers*, шелковый без подкладки, цвета слоновой кости с полосками переливчатого зеленого. Он был мне слегка велик, но в общем сидел неплохо.

– Джуди, отличный пиджак, – произнес я, внимательно оглядывая обшлага. – Ты уверена, что он тебе не нужен?

– Можешь взять себе, – махнула рукой Джуди. – У меня все равно нет на него времени. Дел по горло – шью костюмы для этой долбаной “Как вам это понравится”. Премьера через три недели, просто не знаю, куда деваться. Мне сейчас помогают первокурсники – блин, смотрят на швейную машинку, как баран на новые ворота.

– Кстати, старик, отличный пиджак, – заметил Банни, когда мы выходили из такси. – Это ведь шелк?

– Да. Его еще мой дед носил.

Двумя пальцами Банни ухватил меня за рукав и пощупал плотную желтоватую ткань.

– Классная вещь, – заключил он с важным видом. – Вот только не совсем по сезону.

– Разве?

– Не-а. Это ж Восточное побережье! У вас-то там, понятно, насчет одежды сплошное *laissez-faire*¹⁹, но здесь у нас обычно не расхаживают в купальниках круглый год. Черное и синее, дружок, черное и синее... только так. Позволь-ка, я открою дверь. Знаешь, думаю, тебе здесь понравится. Конечно, не “Поло Лаундж”, но для Вермонта ничего. Что скажешь?

Это был маленький и очень изящный ресторан. Скатерти на столиках сверкали белизной, окна эркеров выходили во внутренний садик: живые изгороди и увитые розами решетки, настурции вдоль дорожки из каменных плит. Посетители были в основном средних лет и явно люди с достатком: похожие на провинциальных адвокатов румяные мужчины, в соответствии с вермонтской модой носившие туфли на каучуковой подошве и костюмы от *Hickey Freeman*; женщины в юбках из шалли, с перламутровой помадой на губах, по-своему вполне миловидные – ухоженные и неброско одетые. Когда мы входили, одна пара мельком взглянула на нас. Я прекрасно понимал, какое впечатление мы производим – два симпатичных паренька из колледжа, у обоих богатые отцы и никаких забот. Хотя почти все дамы за столиками годились мне в матери, одна-две выглядели очень привлекательно. “А могло бы быть неплохо”, – подумал я, представив себе этакую моложавую матрону – одна в большом доме, делать особенно нечего, муж все время в разъездах по делам. Превосходные обеды, деньги на карманные расходы, может быть, даже что-нибудь действительно серьезное, машина например...

К нам незаметно подошел официант.

– Вы заказывали столик?

– На имя Коркорана, – бросил Банни, раскачиваясь на пятках и засунув руки в карманы. – А куда же подевался Каспар?

– Он в отпуске. Вернется через две недели.

– Рад за него! – сердечно сказал Банни.

– Я передам, что вы о нем спрашивали.

– Да, будьте добры, передайте!

– Каспар – отличный парень, здешний метрдотель, – пояснил мне Банни, пока мы следовали за официантом к нашему столику. – Большой такой, старый мужик с усами, австриец или вроде того. К тому же, – он понизил голос до громкого шепота, – к тому же он не голубой, веришь, нет? Может, замечал уже – голубые обожают работать в ресторанах. Я что имею в виду, буквально каждый педрила...

Я заметил, что шея нашего официанта неестественно напряглась.

– ...который мне встречался, просто с ума сходил по хорошей еде. Интересно, в чем тут дело? Может, что-то с психологией? Такое впечатление, что...

¹⁹ Здесь: попустительство (*фр.*).

Я приложил палец к губам и кивком показал на спину официанта как раз в тот момент, когда он повернулся и метнул в нас невыразимо злобный взгляд.

– Вас устраивает ваш столик, джентльмены?

– Да, конечно! – ответил Банни, расплывшись в улыбке.

С подчеркнутой, ядовитой вежливостью официант вручил нам меню и удалился. Я опустился на стул и открыл меню на списке вин. Лицо у меня горело. Банни отхлебнул глоток воды и, устраиваясь поудобнее, осмотрелся с довольным видом:

– Место – просто класс.

– Хорошее место.

– Но до “Поло”, конечно, далеко. – Он поставил локоть на стол и пятерней откинул волосы со лба. – Ты часто там бываешь, в “Поло” я имею в виду?

– Не очень.

Я никогда и не слышал про этот ресторан, что, пожалуй, неудивительно – как я понимаю, он находился примерно в шестистах километрах от моего городка.

– В такие местечки тебя обычно приводит отец, – задумчиво сказал Банни. – Поговорить по-мужски и все такое. Вроде “Оук-бара” в “Плазе”. Мой отец водил туда меня и братьев, когда нам исполнилось восемнадцать, – “опрокинуть первую рюмку”.

Я единственный ребенок в семье, и братья и сестры знакомых меня интересуют.

– Братьев? А сколько их у тебя?

– Четверо. Тедди, Хью, Патрик и Брейди. – Он рассмеялся. – Ужасно было, когда папаша меня туда привел, – как же, я ведь младший сын, а это такое великое событие. Помню, он всю дорогу приговаривал: “Вот уж ты и до крепкого дорос”, “Не успеешь оглянуться, как окажешься на моем месте” и еще “Я-то, наверно, скоро сыграю в ящик”, в общем, всякую такую чушь. А я все это время сидел и боялся пошевелиться. Где-то за месяц до того мы с Клоуком, моим хорошим приятелем, выбрались из стен родного Сент-Джерома в Нью-Йорк – посидеть в библиотеке над заданием по истории. В итоге мы славно посидели в “Оук-баре” – счет был просто огромный! – и улизнули, не заплатив. Ну, ты понимаешь, ребячьи проделки, все дела – но вот я снова в этом баре, да еще с отцом!

– Они тебя узнали?

– Ага, – мрачно кивнул он. – Как я и думал. Но вели себя очень прилично. Ничего не сказали, просто подсунули отцу старый счет вместе с новым.

Я попробовал представить себе эту сцену: податый пожилой отец, одетый в тройку, сидит и греет в ладонях стакан со скотчем или что там у него было... А напротив – Банни. Он выглядел располневшим, но это была полнота от избытка мышц, заплывших жирком. Крупный парень, такие в средней школе обычно играют в американский футбол. Именно о таком сыне втайне мечтает каждый отец: большой добродушный сынуля, способный, но в меру, отличный спортсмен, любитель похлопать собеседника по плечу и рассказать бородатый анекдот.

– А он заметил? Твой отец?

– Не-е. Он уже набрался под завяз. Если б я встал за стойку вместо бармена, он и то б не заметил.

Официант снова направился к нашему столику.

– А вот и Сладкая Попка ковыляет, – сказал Банни, углубляясь в меню. – Ты уже выбрал, что будешь есть?

– Что в нем такое? – спросил я у Банни, разглядывая его коктейль. Из ярко-кораллового, размером с маленький аквариум бокала во все стороны торчали цветные соломинки, бумажные зонтики и кусочки фруктов.

Банни вытащил один зонтик и лизнул кончик.

– Море всего. Ром, клюквенный сок, кокосовое молоко, триплсек, персиковое бренди, мятный ликер. Не знаю, что еще. Попробуй, вкусная штука.

– Да ладно.

– Попробуй.

– Не стоит.

– Давай-давай.

– Нет, спасибо, не хочется.

– Последний раз я пил этот коктейль на Ямайке, позапрошлым летом, – мечтательно произнес Банни. – Мне его смешал один бармен, Сэм. Сказал: “Три таких коктейля, сынок, и ты не попадешь в дверь” – и, черт побери, так оно и вышло. Бывал на Ямайке?

– Нет, вернее, когда-то давно.

– Ты-то, наверно, привык к пальмам и кокосам у себя в Калифорнии. А вот мне там ужасно понравилось. Купил себе розовые плавки в цветочек и все такое. Я звал с собой Генри, но он заявил, что на Ямайке нет культуры. Не знаю, с чего это он – какой-то музейчик там точно был.

– Ты нормально общаешься с Генри?

– О, разумеется, – сказал Банни, откидываясь на спинку стула. – Мы жили в одной комнате на первом курсе.

– И он тебе нравится?

– Само собой, само собой. Правда, жить с ним очень трудно. Не выносит шума, не выносит сборищ, не выносит беспорядка. И речи не может быть о том, чтоб после свидания пригласить девушку к себе – немного послушать Арта Пеппера, если понимаешь...

– Мне кажется, он довольно грубый.

Банни пожал плечами:

– Такой уж у него характер. Видишь, у него голова работает по-другому, чем у нас с тобой. Вечно витает в облаках со своим Платоном и всем остальным. Слишком много занимается, слишком серьезно себя воспринимает, учит санскрит, коптский и какие-то там еще задвинутые языки. Я ему говорю: Генри, если уж ты собираешься тратить время на что-то, кроме греческого, лично я думаю, что древнегреческого и нормального английского человеку совершенно достаточно, – купи себе пару кассет Берлица и подзаймись французским. Найди себе какую-нибудь юную шансонетку... *Voolay-voo coushay avec moi*²⁰ и так далее.

– Сколько он вообще знает языков?

– Я уже сбился со счета. Семь или восемь. Он даже иероглифы умеет читать.

– Ух ты!

Банни с гордостью покачал головой:

– Он гений, этот парень. Мог бы работать переводчиком в ООН, если б захотел.

– Откуда он?

– Из Миссури.

У него было такое серьезное и невозмутимое выражение лица, что я подумал, это шутка, и засмеялся. Банни это удивило.

– А что? Ты думал, он из Букингемского дворца, да?

Все еще смеясь, я пожал плечами. Генри был таким необычным, что с ним не увязывалось ни одно место на земле.

– Вот так-то, – назидательно произнес Банни. – “Недоверчивый штат”. Паренек из Сент-Луиса, прям как старина Том Элиот. Отец – большая шишка в строительном бизнесе. Причем у него там не все чисто – по крайней мере так говорят мои кузены из Сент-Лу. Сам Генри тебе и полслова не скажет, чем занимается его отец. Ведет себя, как будто не знает и знать не хочет.

²⁰ Не хотите ли переспать со мной (*искаж. фр.*).

– Ты был у него дома, в Сент-Луисе то есть?

– Ты что, смеешься? Он такой скрытный, как будто речь идет о Манхэттенском проекте²¹, не иначе. Правда, как-то раз видел его мать. Так, случайно. Заехала повидать его по пути в Нью-Йорк, и я как раз наткнулся на нее в Монмуте, на первом этаже – ходила и спрашивала, не знает ли кто-нибудь номер его комнаты.

– Как она выглядит?

– Симпатичная дама. Темные волосы, голубые глаза – точь-в-точь как у Генри. Норковое манто. На мой вкус, многовато всякой косметики. Ужасно молодая. Генри – ее единственное чадо, она в нем души не чает. – Он наклонился ко мне поближе. – Денег у семьи – ты просто не поверишь. Миллионы, старик, миллионы! Понятное дело, нувориши, но баксы есть баксы, согласен? – Он подмигнул. – Кстати. Все хотел спросить. А откуда презренный металл у твоего папаши?

– Нефть, – сказал я. Отчасти это было правдой.

Рот у Банни превратился в маленькое круглое “о”.

– У вас есть нефтяные скважины?

– Ну, в общем, есть одна, – скромно произнес я.

– Но доход-то с нее приличный?

– Вроде бы да.

– Обалдеть, – сказал Банни, покачивая головой. – Золотой Запад.

– Нам с этой скважиной повезло.

– Ах ты, черт... А вот мой отец всего-навсего президент какого-то вшивого банка.

Я почувствовал, что нужно срочно сменить тему, даже если придется ляпнуть что-нибудь совсем не к месту, – этот разговор грозил загнать меня в угол.

– Если Генри из Сент-Луиса, как получилось, что он такой умный?

Я задал этот вопрос без всякой задней мысли, но Банни неожиданно поморщился:

– В детстве с ним что-то такое стряслось, очень серьезное. Кажется, попал под машину, так, что еле выжил. Пару лет не ходил в школу – нет, он, конечно, занимался с домашними учителями и все такое, но штука в том, что очень долго он вообще ничего не мог делать, только лежал в кровати и читал. Хотя я подозреваю, он и так в два года читал книги, которые нормальные люди читают в колледже. Бывают, знаешь, такие детишки.

– Говоришь, он попал под машину?

– Я так думаю. Не представляю, что там еще могло стрястись. Он не любит об этом говорить. – Банни понизил голос. – Ты заметил, как он зачесывает волосы? На лоб, на правую сторону? Это потому, что у него там шрам. Он чуть не потерял глаз, до сих пор плохо им видит. И еще помнишь, какая у него неуклюжая походка, как будто он прихрамывает? Но вообще это все не важно – он сильный как бык. Уж не знаю, что он там делал – занимался с гантелями или что, но он себя, можно сказать, вновь поставил на ноги, это точно. Настоящий Тедди Рузвельт со всем этим знаменитым преодолением препятствий. Как тут его не уважать. – Он снова откинул волосы со лба и жестом заказал еще один коктейль. – Я это к чему говорю – вот, например, Фрэнсис. По мне, он ничуть не глупей Генри. Светский парень, денег куча. Вот только слишком легко ему это все досталось. Лентяй, каких мало. Любит валять дурака, после занятий только и делает, что бегаёт по вечеринкам и надирается в хлам. А посмотри на Генри. – Он поднял бровь. – Его от греческого за уши не оттянешь...

– Ага, спасибо, сэр, вот сюда, – сказал он официанту, который приблизился с очередным кораллово-красным бокалом на подносе. – И еще один тебе, да?

– Нет, спасибо.

²¹ *Манхэттенский проект* – кодовое название программы создания ядерной бомбы, принятой администрацией Ф. Д. Рузвельта в 1942 г.

– Давай-давай, старик. Я плачу.

– Ну тогда, наверное, еще один martini, – сказал я официанту, который уже повернулся к нам спиной.

Он оглянулся и смерил меня презрительным взглядом.

– Спасибо, – пробормотал я, отводя взгляд от омерзительной улыбочки, игравшей у него на губах. Я смотрел в сторону до тех пор, пока не убедился, что он ушел.

– Знаешь, вот кого я действительно терпеть не могу, так это приставучих педрил, – сказал Банни задушевым тоном. – По мне, так их надо заживо сжигать на костре – всех скопом.

Я встречал людей, которые нападают на гомосексуализм, потому что эта тема вызывает у них чувство неловкости и, возможно, они сами не свободны от наклонностей такого рода, и людей, которые нападают на гомосексуализм совершенно искренне. Сначала я мысленно поместил Банни в первую категорию. Его панибратская манера общения была мне совершенно чужда и потому вызвала подозрения, к тому же он изучал античных авторов, что само по себе, конечно, ни о чем не говорит, но в определенных кругах все же вызывает двусмысленную ухмылку. “Хочешь знать, что такое античность?” – спросил меня подвыпивший декан на преподавательской вечеринке пару лет назад. – Я тебе скажу, что такое античность. Сплошные войны и гомосеки”. Безапелляционное и вульгарное высказывание, но, как во многих афористичных пошлостях, в нем есть и толика истины.

Однако чем дольше я слушал Банни, тем яснее мне становилось, что в его разглагольствованиях не было ни показного веселья, ни желания продемонстрировать собеседнику свою непричастность к предмету беседы. Он рассуждал без малейшего смущения, как какой-нибудь сварливый ветеран иностранных войн – сто лет как женатый, обросший потомством вояка, для которого эта тема и отвратительна, и бесконечно забавна.

– А как же твой друг Фрэнсис? – спросил я.

Я задал этот вопрос из чистого ехидства, просто чтобы посмотреть, как Банни вывернется с ответом. Фрэнсис мог быть или не быть гомосексуалистом, он мог запросто оказаться неотразимым дамским угодником, но он, несомненно, принадлежал к тому типу изысканно одетых, невозмутимых юношей с лисьими повадками, который должен был вызвать вполне определенные подозрения у человека с таким тонким нюхом, как у Банни.

Банни вскинул бровь:

– Что за бред! Кто тебе это сказал?

– Никто. Так, Джуди Пуви, – добавил я, когда понял, что мой первый ответ его не устраивает.

– Я догадываюсь, с чего она могла такое ляпнуть, но у нас тебе кого угодно геєм назовут. На самом деле старомодные маменькины сынки все еще среди нас. Фрэнсису нужно просто обзавестись девушкой, и все будет в порядке. А ты-то сам как? – довольно агрессивно спросил он, прищурившись на меня сквозь стекла съехавших набок очков.

– В смысле?

– Ты старый волк-одиночка? Или какая-нибудь старлетка ждет тебя в Голливуд-Хай?

– Н-нет.

Мне не хотелось рассказывать о своих проблемах с подружками кому бы то ни было, а уж тем более Банни. Только недавно, перед самым отъездом, мне удалось выпутаться из отношений с одной девушкой, назовем ее Кэти. Я познакомился с ней в колледже на первом курсе, и сначала она мне очень понравилась. Мне казалось, что она интеллектуалка, которая, как и я, склонна мыслить критически и недовольна своим окружением. Однако примерно через месяц – а за это время она успела пристать ко мне как смола – я с немалым ужасом стал понимать, что она всего лишь продукт популярной психологии, расхожая версия Сильвии Плат для массового потребителя. Это тянулось бесконечно, как слезливый сериал – просьбы, жалобы, исповеди на парковках, признания в “неадекватности” и “низкой самооценке”, все эти пошлые

горести. Не в последнюю очередь из-за нее я так отчаянно стремился уехать из дома и из-за нее же с опаской поглядывал даже на самых веселых и не склонных к умственным изыскам хэмпденских студентов.

При мысли о ней я помрачнел. Банни наклонился ко мне через стол.

– А правда, что в Калифорнии самые симпатичные девушки?

Я засмеялся так, что мартини чуть не полилось у меня из носа. Банни заговорщицки подмигнул мне:

– Красотки в купальниках, а? Пляж, простынка, па-ра-рам?

– А ты думал!

Мой ответ ему понравился. Наклонившись ко мне еще ближе с видом старого прожженного дядюшки, он стал рассказывать про свою подружку, которую звали Марион:

– Ты наверняка ее видел. Маленькая блондинка с голубыми глазами, примерно вот такого роста.

Тут я и вправду вспомнил, что в самом начале семестра как-то раз встретил Банни на почте, где он довольно развязно беседовал с девушкой, подходившей под это описание.

– Вот это и есть моя девушка. Кроме меня, никого к себе не подпускает, – гордо сказал Банни, проводя пальцем по краю бокала.

Я как раз отпивал мартини и опять расхохотался так, что чуть не захлебнулся.

– К тому же она на начальном образовании – здорово, правда? Я имею в виду, она настоящая девушка. – Он развел руки, как будто показывая разделяющее их расстояние. – Длинные волосы, упитанная фигурка, совершенно спокойно носит платья. Мне это нравится. Можете называть меня старомодным, но слишком умные – не для меня. Вот, например, Камилла – с ней, конечно, здорово, она свой человек и так далее...

– Да брось! – сказал я, все еще смеясь. – Она очень красивая.

– Очень, очень, – согласился он, примирительно поднимая ладонь. – Я разве спорю? Вылитая статуя Дианы в клубе моего отца. Ей только не хватает твердой маминой руки, но все равно – она как дикая роза, а мне больше по душе садовые сорта. Она ведь вообще не думает, о чем положено. И еще обожает ходить в старых шмотках своего братца. Говорят, некоторым девушкам такое идет – хотя, честно, я не представляю каким, – но уж не ей, это точно. Слишком уж на него похожа. То есть Чарльз – симпатичный парень, и характер у него, как ни крути, просто золотой, но мне вряд ли пришло бы в голову на нем жениться, понимаешь?

Банни явно собирался сказать что-то еще, но вдруг осекся. Его кислая мина вызвала у меня недоуменную улыбку – неужели он испугался, что сболтнул лишнее, побоялся показаться нелепым? Я попытался придумать, как быстро сменить тему, чтобы избавить его от мучений, но тут он как ни в чем не бывало сел поудобнее и украдкой оглядел зал.

– Слушай-ка, тебе не кажется, что пора?

За обедом мы перепробовали множество самых разнообразных блюд – омары, паштеты, муссы, – но все это не шло ни в какое сравнение с количеством выпитого. Три бутылки “Тетенже” поверх коктейлей и отправленное вдогонку бренди постепенно превратили наш столик в мировую ось, вокруг которой с сумасшедшей скоростью вращались слегка размытые предметы. Я все пил и пил из появлявшихся передо мной, как по волшебству, бокалов, а Банни провозглашал тосты – за Хэмпден-колледж, за Бенджамина Джауэтта²², за Афины времен Перикла. Тосты становились все более и более витиеватыми, время бежало незаметно, и, когда нам подали кофе, за окном уже начало темнеть. Банни был так пьян, что потребовал у

²² Бенджамин Джауэтт (1817–1893) – английский филолог, теолог и преподаватель. Его перевод диалогов Платона, опубликованный в 1871 г., стал выдающимся событием не только античной филологии, но и английской литературы.

официанта две сигары, которые тот принес на маленьком подносе вместе со счетом, лежащим обратной стороной вверх.

Теперь полутемный зал кружился просто-таки с невообразимой скоростью. От сигары, вопреки ожиданиям, мне не стало легче – напротив, вдобавок ко всему перед глазами замелькали яркие пятнышки с темными краями, и я с содроганием вспомнил кошмарные одноклеточные организмы, которые когда-то мне приходилось, отчаянно моргая, до головокружения разглядывать в микроскоп. Я затушил сигару в пепельнице, при ближайшем рассмотрении оказавшейся моим десертным блюдом. Осторожно высвободив позолоченные дужки из-за ушей, Банни снял очки и начал протирать их салфеткой. Без них его глаза казались маленькими, подслеповатыми и дружелюбными. Они слегка слезились от сигарного дыма, и в уголках можно было заметить сеточку веселых морщинок.

– Вот это был обед, а, старик? – сказал он, сжимая в зубах сигару и рассматривая очки на свет в поисках пылинок. В тот момент он был очень похож на молодого безусого Тедди Рузвельта, готового повести “Лихих всадников”²³ на штурм холма Сан-Хуан или отправиться выслеживать дикого зверя в лесной чащобе.

– Все было замечательно. Спасибо.

Он выпустил огромное облако голубого едкого дыма.

– Первоклассная еда, приятное общество, море выпивки, что еще нужно? Как там в той песне?

– Какой?

– Я хотел бы сесть за стол, – пропел Банни, – и беседовать с друзьями, и... чего-то там еще, трам-пам.

– Не помню.

– Я тоже. Ее Этель Мерман поет.

В зале стало почти совсем темно. Я попробовал сфокусировать взгляд на предметах за пределами столика и обнаружил, что, кроме нас, в ресторане уже никого нет. В дальнем углу виднелась бледная тень, похожая на нашего официанта, – загадочное, почти сверхъестественное существо. Впрочем, если верить молве, обитатели мира теней всецело поглощены своими заботами, его же внимание было приковано к нам, и я чувствовал, как мы высвечиваемся в спектральных лучах его ненависти.

– Ох, наверно, надо идти, – вздохнул я и откинулся на стуле, едва удержав при этом равновесие.

Банни великодушно махнул рукой и перевернул счет. Разглядывая его, он порылся в кармане, затем взглянул на меня и улыбнулся:

– Слушай, старик...

– Да?

– Мне очень неловко, но, может быть, в этот раз заплатишь ты, а потом мы как-нибудь сочтемся?

Я ословело поднял брови и рассмеялся:

– У меня нет ни цента.

– У меня тоже. Забавно. Похоже, забыл дома бумажник.

– Шутишь?

– Вовсе нет, – весело сказал он. – Ни единой монетки. Я бы вывернул карманы, чтоб ты не сомневался, но Сладкая Попка увидит.

У меня возникло острое ощущение, что наш злобный официант, притаившийся в тени, с интересом прислушивается к разговору.

²³ “Лихие всадники” – добровольческий кавалерийский полк под командованием будущего президента США Теодора Рузвельта (1858–1919), принимавший участие в Испано-американской войне 1898 г.

– Сколько там вышло?

Банни провел спотыкающимся пальцем по столбику цифр:

– Все вместе получается двести восемьдесят семь долларов пятьдесят девять центов. Не считая чаевых.

Я был ошеломлен суммой и озадачен его безмятежным спокойствием.

– Ничего себе.

– Ну, вся эта выпивка, ты ж понимаешь.

– Что будем делать?

– Может, просто выпишешь чек? – предложил он самым обычным тоном.

– У меня нет чековой книжки.

– Тогда заплати карточкой.

– У меня нет карточки.

– Да брось, не выдумывай.

– Нет у меня карточки, – сказал я с нарастающим раздражением.

Банни отодвинул стул, поднялся, огляделся с нарочитой небрежностью, как детектив, прогуливающийся в фойе гостиницы. У меня мелькнула дикая мысль, что сейчас он просто рванется к выходу, но он только хлопнул меня по плечу.

– Сиди не дергайся, старик, – прошептал он. – Я пойду позвоню.

Сунув кулаки в карманы, он вразвалочку пошел к выходу, и в сумерках зала замелькали его белые носки.

Его не было довольно долго, и я уже начал думать, что он не вернется, что он выбрался через окно и оставил меня расхлебывать всю эту кашу, но наконец где-то хлопнула дверь, и вальяжной походкой Банни вернулся к столу.

– Расслабься, – сказал он, падая на стул. – Отбой тревоги.

– Что ты придумал?

– Позвонил Генри.

– Он приедет?

– Сей момент.

– Разозлился?

Банни отмел это предположение легким движением руки:

– Все нормально. Если честно, по-моему, он чертовски рад выбраться из дому.

Прошло десять мучительных минут, в течение которых мы делали вид, что допиваем ледяные остатки кофе. Наконец появился Генри. Под мышкой у него была зажата книга.

– Вот видишь? Я ж говорил, что он приедет, – прошептал мне Банни и обратился к подошедшему Генри: – О, привет! Как я рад видеть нашего...

– Где счет? – спросил Генри убийственно монотонным голосом.

– Вот, держи, дружище, большущее спасибо, – затараторил Банни, роясь среди чашек и бокалов. – Я твой должник на...

– Привет, – холодно сказал Генри, поворачиваясь ко мне.

– Привет.

– Как дела?

Он был похож на робота.

– Отлично.

– Это хорошо.

Банни наконец отыскал счет:

– Вот, вот он, старик.

Некоторое время Генри разглядывал листок с абсолютно каменным лицом.

– Кстати! – оживился Банни. В напряженной тишине его голос звучал как иерихонская труба. – Хотел было извиниться, что оторвал тебя от очередной книженции, но ты, я вижу, как всегда, притащил ее с собой. Что там у тебя? Что-нибудь интересенькое?

Генри молча протянул ему книгу. Надпись на обложке была на каком-то восточном языке. Банни тупо уставился на заглавие, затем сунул книгу обратно Генри в руки.

– Замечательно, – выдавил он каким-то полуобморочным голосом.

– Вы готовы? – резко спросил Генри.

– Конечно, конечно. – Банни торопливо вскочил, чуть не опрокинув стол. – Одно лишь слово, трам-пам-пам, и в тот же самый миг...

Генри оплатил счет. Банни увивался вокруг него, как провинившийся ребенок.

Дорога домой была сплошной пыткой. От Банни, сидевшего сзади, летел фейерверк блестящих, но обреченных на провал попыток завязать разговор, одна за другой его остроты вспыхивали и гасли. Генри не сводил глаз с дороги, а я нервно щелкал крышкой пепельницы под приемником. В конце концов до меня дошло, как это, должно быть, действует на нервы, и я с большим трудом заставил себя остановиться.

Сначала Генри отвез домой Банни. Изливая потоки бессвязных любезностей, Банни хлопнул меня по плечу и выбрался из машины.

– Ага, отлично, Генри, Ричард, вот мы и дома. Замечательно. Прекрасно. Тыща благодарностей... отличный обед... ну что ж, ту-туу, пока-пока...

Он хлопнул дверцей и потрусил к входу.

Едва он скрылся в общежитии, Генри повернулся ко мне:

– Мне очень жаль.

– Нет-нет, что ты, – ответил я, сгорая от стыда. – Просто вышла небольшая путаница. Я верну тебе деньги.

– Не вздумай. Это он во всем виноват.

– Но...

– Он сказал, что приглашает тебя, так ведь?

В его голосе звучало осуждение.

– Э-э, да.

– И совершенно случайно забыл дома бумажник?

– Ну, оплошал, со всеми бывает.

– Оплошность тут ни при чем, – отрезал Генри. – Это гнусный розыгрыш. Он принимает как данность, что те, кто рядом, готовы в мгновение ока оплачивать астрономические счета. Ему и в голову не приходит, в какое неловкое положение он ставит людей. Что, если бы меня не оказалось дома?

– Я думаю, он на самом деле просто забыл.

– Вы ехали туда на такси, – тут же сказал Генри. – Кто платил?

Я машинально открыл рот, чтобы возразить, и вдруг меня как водой окатили. За такси заплатил Банни. При этом он не преминул подчеркнуть свою щедрость.

– Вот видишь, – кивнул Генри. – У него даже не хватило ума до конца все продумать. Свинская шутка, вполне в духе Банни, но, надо сказать, я не думал, что у него хватит наглости сыграть ее с совершенно незнакомым человеком.

Я не знал, что на это ответить, и к Монмуту мы подъехали в полном молчании.

– Ну что же, – сказал он. – Прости, что так получилось.

– Нет, правда, ничего страшного. Спасибо, Генри.

– Ладно, спокойной ночи.

Я постоял на крыльце, провожая взглядом удаляющуюся машину, затем поднялся в комнату и в пьяном ступоре повалился на кровать.

– Мы все знаем про твой обед с Банни, – сказал Чарльз.

Я вежливо посмеялся. Это было на следующий день, в воскресенье, ближе к вечеру. С самого утра я пытался читать “Парменида”²⁴ на греческом. Этот диалог был мне не по зубам, тем более с похмелья, и я сидел над книгой уже так долго, что буквы начали плыть у меня перед глазами – не поддающиеся расшифровке значки, отпечатки птичьих лапок на песке. В бездумном оцепенении я смотрел в окно на скошенные луга, волнами зеленого бархата подступавшие к холмам на горизонте, и вдруг заметил близнецов, легко и неспешно скользивших по лужайке кампуса, как парочка привидений.

Я высунулся из окна и окликнул их. Они остановились и подняли головы, шурясь от яркого предзакатного солнца и прикрывая глаза ладонями. “Привет!” Их слабые, приглушенные расстоянием голоса донеслись до меня, почти слившись в один. “Спускайся к нам”.

И вот мы уже бредем вдвоем по роще за колледжем и дальше, по опушке низкорослого соснового лесочка, протянувшегося к подножию гор.

В белых теннисных свитерах и теннисных туфлях, с растрепанными светлыми волосами, близнецы еще больше, чем обычно, напоминали ангелов. Я не очень понимал, зачем они позвали меня. В их вежливом обхождении сквозило легкое замешательство; они поглядывали на меня с некоторой опаской, словно бы я приехал из далекой страны с незнакомыми, экзотическими нравами и обычаями и требовалась немалая осторожность, чтобы не испугать или не обидеть меня.

– Откуда вы знаете про обед?

– Бан позвонил утром. А Генри рассказал нам еще вчера вечером.

– Он, наверно, здорово злится.

Чарльз пожал плечами:

– На Банни – может быть, а на тебя нет.

– Они ведь друг друга терпеть не могут, как я понимаю?

Близнецы изумленно посмотрели на меня.

– Вообще-то они старые друзья, – сказала Камилла.

– Я бы даже сказал, близкие друзья, – добавил Чарльз. – Одно время они были, что называется, не разлей вода.

– По-моему, они частенько ссорятся.

– Да, бывает, – сказала Камилла, – но это не значит, что они плохо друг к другу относятся. Генри такой серьезный, а Бан такой... э-э, в общем, несерьезный... Наверное, поэтому они прекрасно ладят.

– Вот именно, – сказал Чарльз. – *L'Allegro* и *Il Penseroso*²⁵. Гармоничный дуэт. Мне кажется, Банни – единственный на свете, кто может рассмешить Генри.

Резко остановившись, он махнул рукой вдаль:

– Ходил туда когда-нибудь? Вон там, на холме, есть кладбище.

Я едва различал его сквозь сосны. Невысокие покосившиеся надгробия, как расшатанные зубы, торчали под такими странными углами, что в них чувствовалось застывшее движение, словно бы какая-то сверхъестественная сила, вроде полтергейста, лишь секунду назад разбросала их в истерическом припадке.

– Оно очень старое, – сказала Камилла. – Начала восемнадцатого века. Здесь был город, церковь и мельница. От построек остались одни фундаменты, зато сады до сих пор цветут – пепинки и зимние яблони. А там, где были дома, – мускусные розы. Бог знает, что тут случилось. Может, эпидемия. Или пожар.

²⁴ “Парменид” считается одним из самых сложных для понимания платоновских текстов.

²⁵ *L'Allegro* (“Веселый”) и *Il Penseroso* (“Задумчивый”) – названия поэм Мильтона.

– Или могауки, – предположил Чарльз. – Сходи как-нибудь, посмотри. Место того стоит. Особенно кладбище.

– Там очень красиво. Особенно когда все в снегу.

За деревьями пламенел шар заходящего солнца, и перед нами маячили наши тени, причудливые и неестественно длинные. В воздухе стоял запах прелой листвы и дыма далеких костров, предчувствие сумеречной прохлады. Тишину нарушал только звук наших шагов по каменистой тропинке и шум ветра в вершинах сосен; меня одолевала дрема, голова раскалывалась, и во всем происходящем было что-то не вполне от мира сего, что-то похожее на сон. Мне казалось, я вот-вот вздрогну и проснусь, подниму голову от раскрытой книги и пойму, что сижу в своей темной комнате, совершенно один.

Вдруг Камилла остановилась и приложила палец к губам. На сухом, пополам расколотом молнией дереве сидели три огромные черные птицы, гораздо крупнее ворон. Таких я еще никогда не видел.

– Вороны, – пояснил мне Чарльз.

Мы замерли, наблюдая за ними. Неуклюже подпрыгивая, один из воронов добрался до конца ветки. Она заскрипела под его тяжестью, распрямилась, и с резким карканьем ворон поднялся в воздух. Двое других, тяжело хлопая крыльями, последовали за ним. Построившись треугольником, птицы проплыли над лугом. Три темные тени пронеслись по траве.

Чарльз рассмеялся:

– Их трое и нас трое. Предзнаменование, не иначе.

– Знак.

– Знак чего? – спросил я.

– Не знаю, – сказал Чарльз. – Это Генри у нас любитель орнитомантии. Гадает по полету птиц.

– Он такой древний римлянин. Вот кто бы нам все истолковал.

Мы повернули домой, и вскоре, с вершины очередного подъема, вдали показались крыши общежитий. В холодной пустоте темнеющего неба молочной лункой ногтя плыл месяц. Я еще не привык к этим жутковатым осенним сумеркам, к резкому похолоданию и раннему приходу темноты. Вечер наступал слишком быстро, и опускавшаяся на луг мертвая тишина наполняла сердце странным трепетом и печалью. Я с тоской подумал об общежитии: пустые коридоры, старые газовые рожки, скрежет ключа в замке.

– Ну, до встречи, – сказал Чарльз, когда мы подошли к крыльцу Монмута. В свете фонаря его лицо казалось неестественно бледным.

Я увидел, что в Общинах уже зажглись огни и в окнах столовой мелькают темные силуэты.

– Здорово погуляли, – сказал я, засовывая руки поглубже в карманы. – Может быть, поужинаете со мной?

– Боюсь, что нет. Нам нужно домой.

– Ну что же... – Я и огорчился, и почувствовал некоторое облегчение. – Значит, в другой раз.

– Слушай, а может?... – вдруг произнесла Камилла, взглянув на брата. Тот нахмурился:

– Хм... А давай.

– Пойдем ужинать к нам, – сказала она, резко, словно в порыве вдохновения, повернувшись ко мне.

– Нет-нет, – поспешно отказался я.

– Пойдем, правда.

– Спасибо, не стоит. Seriously, не беспокойтесь.

– Пойдем-пойдем, – любезно сказал Чарльз. – У нас нет ничего особенного, но мы будем рады, если ты присоединишься.

Меня захлестнул прилив благодарности. На самом деле я хотел пойти с ними, очень хотел.

– А я точно не помешаю?

– Ничуть, – решительно заявила Камилла. – Пошли.

Чарльз и Камилла снимали меблированную квартиру на последнем этаже четырехэтажного дома в Северном Хэмпдене. Миновав прихожую, я оказался в маленькой гостиной со скошенными стенами и мансардными окнами. Кресла и тяжелый диван были обтянуты пыльной, протершейся на подлокотниках парчой: на бронзовой ткани – узор из роз, на болотно-зеленой – из желудей и дубовых листьев. Повсюду потемневшие от времени полотняные салфетки. На каминной полке поблескивала пара подсвечников со стеклянными подвесками и несколько потускневших серебряных тарелок.

В квартире не то чтобы царил полный беспорядок, но до него было недалеко. Везде, где только можно, громоздились стопки книг; столы были завалены бумагами, пепельницами, бутылками из-под виски и коробками из-под конфет; по узкому коридору было не пройти из-за сваленных у стен зонтиков и галош. В комнате Чарльза на коврике была разбросана одежда, а через дверцу шкафа перекинута охапка разноцветных галстуков; ночной столик у кровати Камиллы был заставлен грязными чашками, среди которых подтекали перьевые ручки. В стакане засыхал букет ноготков, в изножье кровати был разложен незавершенный пасьянс. Общая планировка квартиры производила очень странное впечатление. Окна встречались в самых неожиданных местах, узкие коридорчики заканчивались тупиками, а дверные проемы были настолько низкими, что мне приходилось нагибаться. Я то и дело натывался на какие-нибудь диковины: старый стереоскоп (пальмовые авеню призрачной Ниццы, уходящие в сепиевую даль), наконечники стрел в пыльной коробке, окаменелый отпечаток папоротника, птичий скелет.

Чарльз принялся исследовать содержимое кухонных шкафчиков. Камилла налила мне ирландского виски из бутылки, венчавшей стопку журналов *National Geographic*.

– Ты видел смоляные ямы Ла-Бреа?²⁶ – спросила она так, словно это был самый обычный вопрос.

– Нет, – признался я, беспомощно уставившись в стакан.

– Представляешь, Чарльз, – крикнула она в сторону кухни, – он живет в Калифорнии и ни разу не был в Ла-Бреа.

Чарльз появился в дверном проеме, вытирая руки кухонным полотенцем.

– Правда? – спросил он с детским удивлением. – Почему?

– Не знаю.

– Там же так интересно! Подумать только!

– Ты многих здесь знаешь из Калифорнии? – спросила Камилла.

– Нет.

– По крайней мере, ты знаешь Джуди Пуви.

Я удивился: откуда ей это известно?

– Она не входит в число моих друзей.

– Моих тоже. В прошлом году она плеснула мне пивом в лицо.

– Я слышал, – засмеялся я, но она даже не улыбнулась.

– Не всему верь, что слышишь, – сказала она, отпивая виски. – А знаком ли ты с Клоуком Рэйберном?

²⁶ Ла-Бреа – район Хэнкок-парка (Лос-Анджелес, Калифорния), где выходят на поверхность скопления природных битумов. Из смоляных ям Ла-Бреа были извлечены тысячи экземпляров ископаемых животных эпохи последнего оледенения, включая мамонтов, мастодонтов и саблезубых тигров.

Я видел его. Калифорнийцы в Хэмпдене – в основном из Сан-Франциско и Лос-Анджелеса – сплотились в тесный круг, центром которого как раз и был Клоук Рэйберн: претенциозная улыбочка усталого светского льва, полуопущенные веки, сигареты одна за другой. Таких типов можно часто встретить в туалете на вечеринках, где они осторожно делают дорожки на краю раковины. Девушки из Лос-Анджелеса, в том числе Джуди, были фанатично преданы ему.

– Они с Банни приятели.

– Как так? – удивился я.

– Вместе учились в средней школе. В Сент-Джероме, в Пенсильвании.

– Это же Хэмпден, – подключился к разговору Чарльз. – Эти прогрессивные школы так и норовят заполучить проблемных студентов – дескать, “поможем жертвам непонимания”. Клоук перевелся сюда после первого курса из колледжа в Колорадо. Там он целыми днями катался на лыжах и в конце года провалился по всем предметам. Хэмпден – последнее прибежище на свете...

– ...для отбросов общества со всего земного шара, – смеясь, закончила Камилла.

– Да ладно вам.

– Нет, я думаю, в каком-то смысле это действительно так, – сказал Чарльз. – Половина студентов учится здесь потому, что больше их нигде не примут. Не хочу сказать ничего плохого, Хэмпден – отличный колледж, но, может быть, в том-то и причина. Посмотри на Генри. Если бы его не взяли в Хэмпден, он, наверно, вообще остался бы без высшего образования.

– Не выдумывай.

– Я понимаю, звучит смешно, но он бросил школу в десятом классе. Подумай, какой приличный колледж возьмет такого недоучку? И вдобавок стандартные тесты... Генри отказался их сдавать. Уверен, это был бы лучший результат за всю историю этих несчастных тестов, но они вызывают у него что-то вроде эстетического отвращения. Представляешь, что должна подумать приемная комиссия?

Он отхлебнул виски.

– Ну а ты как здесь оказался?

По выражению его глаз я не мог догадаться, о чем он думает.

– Мне понравился их буклет, – сказал я.

– И приемная комиссия, разумеется, встретила тебя с распростертыми объятиями.

Мне вдруг ужасно захотелось пить. В комнате было душно, у меня пересохло в горле, виски оставило во рту отвратительный привкус, и дело не в том, что оно было плохим, наоборот – отличным, но я был с похмелья, к тому же целый день не ел, и внезапно почувствовал, что сейчас меня вырвет.

Раздался стук в дверь – один короткий удар, а затем кто-то забарабанил не стесняясь. Не сказав ни слова, Чарльз осушил стакан и нырнул обратно в кухню, а Камилла пошла открывать.

Еще до того, как дверь отворилась до конца, я различил блеск очков. Раздался нестройный хор приветствий, и все они ввалились в прихожую: Генри, Банни в обнимку с коричневым бумажным пакетом, Фрэнсис с бутылкой шампанского в правой руке, похожий на принца крови в своем длинном черном пальто и черных перчатках. Он вошел последним и, нагнувшись, громко чмокнул Камиллу в губы.

– Привет, дорогая! Мы ошиблись, но как удачно! Я купил шампанское, а Банни принес стаут, так что сегодня можно смешать “черный бархат”. А что у нас на ужин?

Я поднялся. На долю секунды все замолчали, но тут Банни сунул свой пакет Генри и шагнул вперед, протягивая мне руку.

– Кого я вижу! – воскликнул он. – Соучастник преступления собственной персоной. Обед мало показалось, еще и на ужин пожаловал?

Он хлопнул меня по плечу и понес какую-то ахинею. Мне было жарко, к горлу подкатывала тошнота. Я затравленно огляделся. Фрэнсис беседовал с Камиллой. Генри, стоявший у двери, слегка кивнул мне и еле заметно улыбнулся.

– Извини, – сказал я Банни. – Я сейчас.

Я пробрался на кухню. Она была похожа на кухню в доме стариков – потертый красный линолеум, закопченная плита, нутужно хрипящий холодильник. На крышу, вполне в стиле этой странной квартиры, вела дверь. Набрав воды из-под крана, я опрокинул стакан одним глотком: слишком много, слишком быстро – классический случай. Чарльз сидел на корточках перед открытой духовкой и вилок переворачивал отбивные из молодого барашка.

Я никогда не был любителем мясной пищи, в чем не последнюю роль сыграла весьма садистская экскурсия на мясокомбинат в шестом классе. Запах баранины не показался бы мне аппетитным и в другой ситуации, а в моем тогдашнем состоянии он был просто тошнотворным. Дверь на крышу была приоткрыта и подперта кухонным стулом, через ржавую сетку тянуло сквозняком. Я снова наполнил стакан и подошел к щели: “глубокие вдохи, – подумал я, – свежий воздух, и все будет тип-топ...”. Чарльз обжег палец и, чертыхнувшись, захлопнул духовку. Обернувшись, он с удивлением обнаружил меня:

– О, салют. Ты чего? Налить тебе еще?

– Нет, спасибо.

Он пригляделся к стакану у меня в руках:

– Что это у тебя – неужто джин? Где ты его откопал?

В дверях появился Генри.

– У тебя есть аспирин? – спросил он у Чарльза.

– Вон там. Выпить хочешь?

Вытряхнув на ладонь несколько таблеток, Генри проглотил их вместе с двумя загадочными капсулами, извлеченными из кармана, и запил протянутым Чарльзом виски.

Бутылочку с аспирином он оставил на полке. Я подошел и украдкой достал пару таблеток, но от внимания Генри это не укрылось.

– Нездоровится? – спросил он, как мне показалось, сочувственно.

– Нет, просто голова болит.

– Надеюсь, это у тебя не слишком часто?

– В чем дело? – спросил Чарльз. – Здесь что, все разболелись?

– Почему все толпятся на кухне? – обиженно прокричал из коридора Банни. – Когда мы наконец будем есть?

– Подожди, Бан, через минуту начнем.

Банни вразвалочку вошел на кухню и заглянул через плечо Чарльза, изучая противень, который тот только что вынул из духовки.

– По-моему, готово, – сказал он и, ухватив отбивную за косточку, вонзил в нее зубы.

– Банни, ну подожди немножко, – сказал Чарльз. – На всех может не хватить.

– Умираю от голода, – проговорил Банни с набитым ртом. – Крайняя степень истощения.

– Не забудь поглотить кости после ужина, – бросил Генри без тени улыбки.

– Заткнись.

– Правда, Бан, подожди чуть-чуть, – повторил Чарльз.

– Хорошо-хорошо, – ответил Банни, но, когда Чарльз отвернулся, украдкой стащил еще одну отбивную. Тонкая струйка розоватого сока потекла по его запястью и скрылась в рукаве.

Сказать, что ужин прошел плохо, было бы преувеличением, но и особо удачным назвать его было трудно. Я не совершил никакой явной глупости и не ляпнул ничего неуместного, но был недоволен собой, раздражен и подавлен, мало говорил, а ел и того меньше. Разговор по большей части касался неизвестных мне событий, и даже дружелюбные попытки Чарльза ввести меня в курс дела не слишком помогали понять, о чем речь. Генри и Фрэнсис без конца

спорили о том, на каком расстоянии друг от друга стояли римские legionеры в боевом строю: плечом к плечу, как говорил Фрэнсис, или, как утверждал Генри, на расстоянии около метра. Этот спор перешел в другую, еще более долгую дискуссию – путаную и, на мой взгляд, исключительно занудную, – был ли первичный Хаос Гесиода не более чем пустым пространством или же хаосом в современном смысле слова. Камилла поставила пластинку Жозефины Бейкер, Банни съел мою отбивную.

Я ушел рано. И Фрэнсис, и Генри предложили отвезти меня домой, что почему-то еще больше меня расстроило. Я ответил, что лучше прогуляюсь, спасибо, и, ничего не соображая, с безумной улыбкой отступил из прихожей на лестницу, ни на секунду не поворачиваясь к ним спиной. Лицо у меня горело под их взглядами, выразившими любопытство и легкую озабоченность.

До колледжа было недалеко, минут пятнадцать ходьбы, однако на улице холодало, у меня раскалывалась голова, а оставшееся от прошедшего вечера острое чувство неполноценности и полного провала нарастало с каждым шагом. Я снова и снова прокручивал в голове недавние события, пытаюсь припомнить точные формулировки замечаний, многозначительные интонации, утонченные оскорбления или, напротив, любезности, которые я мог упустить, и память охотно подбрасывала новый материал для мучительных переживаний.

Когда вернулся, посеребренная луной комната показалась мне совершенно чужой. На столе перед распахнутым окном так и лежал открытый “Парменид”, рядом стоял пластиковый стаканчик с недопитым кофе. В комнате было прохладно, но я не стал закрывать окно. Я упал на кровать, не сняв ботинки и не включив свет.

Лежа на боку, я разглядывал пятно лунного света, растекшееся по дощатому полу. От внезапного порыва ветра взметнулись занавески, длинные и бледные, как привидения. Страницы “Парменида” зашелестели, словно открытую книгу пролистала невидимая рука.

Я собирался встать пораньше, но когда проснулся, подскочив как пружина, уже всюду светило солнце и часы показывали без пяти девять. Не побрившись, не причесавшись и даже не переодевшись после вчерашнего вечера, я схватил Лиделла и Скотта²⁷ вместе с тетрадью по греческому и побежал на занятия.

За исключением Джулиана, который всегда принципиально задерживался на несколько минут, все уже были там. Проходя по коридору, я услышал голоса, но стоило открыть дверь, как мои одноклассники затихли и подняли головы.

Мгновение все молчали. Затем Генри произнес: “Доброе утро”.

– Доброе утро, – ответил я. В ясном северном свете все они выглядели свежими, хорошо отдохнувшими, немного удивленными моим появлением; они внимательно наблюдали за мной, а я провел пятерней по волосам, мучительно сознавая, что не причесан.

– Похоже, приятель, ты сегодня забыл пообщаться с бритвой, – прокомментировал Банни. – Похоже...

Тут отворилась дверь, и вошел Джулиан.

Занятия в тот день были очень напряженными, особенно для меня, ведь мне нужно было так много наверстать. По вторникам и четвергам было приятно сидеть за чашкой чая и беседовать о литературе и философии, но остальные дни целиком посвящались греческой грамматике и литературной композиции, а это по большей части был умопомрачительно тяжелый труд. (Мне кажется, что сейчас, когда я стал старше и утратил прежнюю выносливость, я уже не смог бы подвигнуть себя на такую работу.) Так что мне было о чем беспокоиться помимо холода, вновь охватившей моих одноклассников. Как и прежде, их окружала атмосфера

²⁷ Имеется в виду греко-английский словарь под редакцией Генри Джорджа Лиделла, Роберта Скотта и Генри Стюарта Джонса – монументальный лексикографический труд по древнегреческому языку.

неприступной солидарности, как и прежде, они с изысканным, безупречным равнодушием смотрели сквозь меня. Вчера в их строю возникло свободное место, но сегодня оно исчезло, а я, казалось, вернулся к началу, не продвинувшись ни на шаг.

После занятий я пошел к Джулиану, якобы затем, чтобы обсудить, нельзя ли перезачесть некоторые предметы, хотя на уме у меня было нечто совсем иное. Дело было в том, что решение бросить все ради греческого внезапно показалось мне поспешным, чтобы не сказать дурацким, а мои побудительные мотивы – просто смехотворными. О чем, спрашивается, я думал? Мне нравился греческий, и мне нравился Джулиан, но я уже не мог с уверенностью сказать, что мне симпатичны его ученики, и потом – неужто я и в самом деле хотел провести студенческие годы и всю дальнейшую жизнь, рассматривая фотографии разбитых курсов²⁸ и обсасывая тонкости употребления древнегреческих частиц? Два года назад подобное опрометчивое решение ввергло меня в тянувшийся целый год кошмар с захлороформленными кроликами и посещениями морга – кошмар, из которого я выбрался только чудом. Мое нынешнее положение было далеко не столь плачевным (мороз пробежал у меня по коже при воспоминании о лабораторных занятиях по зоологии: восемь утра, визг молочных поросят в тесных клетках), нет-нет, сказал я себе, гораздо менее плачевным. И все же недавний выбор казался большой ошибкой. Семестр, однако, был в разгаре, и еще раз менять предметы и куратора было поздно.

Думаю, я отправился тогда к Джулиану в надежде, что он возродит мою ослабевшую решимость, вернет неколебимую уверенность, владевшую мной в тот первый день. И это наверняка удалось бы ему без труда, если бы только наша беседа состоялась. Однако я так до него и не добрался. Поднявшись на лестничную площадку, я услышал голоса в коридоре перед его кабинетом и остановился.

Разговаривали Джулиан и Генри. Похоже, они не слышали, как я поднимался по лестнице. Генри собирался уходить, дверь кабинета была открыта, Джулиан стоял на пороге. Он сдвинул брови, и выражение его лица было очень серьезным, словно он говорил что-то чрезвычайно важное. Тут же решив (в припадке мнительности, а лучше сказать, паранойи), что они говорят обо мне, я высунулся из-за угла, насколько позволяла осторожность, и прислушался.

Джулиан как раз закончил свою речь. На секунду отведя взгляд в сторону, он прикусил нижнюю губу и вновь посмотрел на Генри.

Генри говорил тихо, но четко и, казалось, взвешивал каждое слово:

– Следует ли мне поступить, как я считаю нужным?

К моему удивлению, Джулиан заключил ладони Генри в свои.

– Именно так и следует всегда поступать. Никак иначе.

Что, черт возьми, подумал я, здесь происходит? Я замер на месте, стараясь не издать ни звука. Мне безумно хотелось исчезнуть, пока меня не заметили, но я боялся даже пошевелиться.

К моему несказанному, беспредельному удивлению, Генри наклонился к Джулиану и быстро, по-деловому поцеловал его в щеку. Затем двинулся прочь, но, к счастью, обернулся, чтобы сказать что-то еще на прощание; я, как мог тихо, на цыпочках спустился вниз и, очутившись на нижней площадке, вне пределов слышимости, бросился бежать со всех ног.

Следующая неделя прошла в сюрреалистическом одиночестве. Листья желтели, часто шел дождь, рано темнело. В Монмуте студенты собирались по вечерам на первом этаже у камина, жгли похищенные под покровом ночи из преподавательского дома дрова и, протянув к огню разутые ноги, пили подогретый сидр. Я же шел с занятий напрямик к себе в комнату,

²⁸ *Курсы* – древнегреческие статуи архаического периода (примерно 650–500 гг. до н. э.), изображающие обнаженных юношей. Как правило, юноши стоят прямо, руки опущены вдоль тела, одна нога занесена для шага, на губах – слабая (“архаическая”) улыбка.

минуя эти идиллические картины “домашнего очага” и не отзываясь даже на самые участливые и настойчивые приглашения присоединиться к общажному веселью.

Наверное, я был просто слегка подавлен столь непривычной, но уже утратившей новизну обстановкой: я чувствовал себя так, как будто находился в чужой стране с загадочным бытом, странными людьми и непредсказуемой погодой. Мне казалось, я болен, хотя теперь понимаю, что был вполне здоров, просто мне все время было холодно, и я страдал бессонницей, нередко забываясь сном лишь на час-другой под утро.

На свете нет ничего более одинокого и бестолкового, чем бессонница. Я проводил ночи за греческим, просиживая порой до четырех утра – голова к тому времени гудела, глаза слезились, и во всем Монмуте светилось только мое окно. Когда сосредоточиться уже не было сил и буквы превращались в бессмысленные вилючки и треугольники, я читал “Великого Гэтсби” – одну из моих любимых книг. Я специально взял ее в библиотеке, надеясь, что она меня подбодрит, но эффект, разумеется, вышел обратный, поскольку сквозь призму владевшей мной меланхолии я видел в этом романе лишь некое трагическое сходство между Гэтсби и самим собой.

– После такой травмы мне пришлось туго, сам понимаешь...

В грохоте дискотеки слова загорелой блондинки едва долетали до меня. В начале вечеринки я уже выслушал эту историю: растянутые сухожилия, мир танца утерян безвозвратно, мир театра зовет к свершениям.

Она говорила все громче, силясь перекричать музыку:

– Но, видишь, я очень остро осознаю себя как личность, осознаю свои потребности – я ведь столько пережила. Конечно, другие люди – это тоже очень важно, но, если честно, я всегда добиваюсь от них, чего хочу.

Девушка была очень высокой, почти с меня ростом, и можно было не спрашивать, откуда она – было и так понятно, что из Калифорнии. Наверное, дело было в ее голосе или, может быть, в красноватой веснушчатой коже (туго натянутой на выступающих ключицах и костлявой груди, безутешной в отсутствие каких-либо пленительных округлостей), открывавшейся моему взору в вырезе корсета от Готье. О том, что корсет от Готье, мне стало известно с ее собственных, как бы вскользь оброненных слов. На мой взгляд, ее одеяние скорее походило на мокрый купальник, нелепо зашнурованный спереди. Сквозь ее рубленое стаккато, которое так старательно имитируют калифорнийцы, выдающие себя за жителей Нью-Йорка, ясно проступали хрипловатые радушные нотки Золотого штата. Захолустная “королева проклятых”. Она была из тех симпатичных, загорелых бездельниц, которые в Калифорнии смотрели на меня как на пустое место. Однако сейчас она явно пыталась меня подцепить. После приезда в Вермонт мне случилось переспать – лишь однажды – с хрупкой рыжеволосой девчонкой, которую я встретил на вечеринке в первые же выходные. Потом мне сказали, что она богатая наследница бумажного магната со Среднего Запада, и с тех пор при встрече с ней я старательно отводил глаза. Как шутили в свое время мои одноклассники, это единственный выход для настоящего джентльмена.

– Хочешь сигарету? – проорал я.

– Не курю.

– Я вообще-то тоже. Только на вечеринках.

– Ха-ха, ну давай, что ли... Кстати, не знаешь, где тут можно травки раздобыть? – прокричала она мне в самое ухо.

Пока я старательно ловил зажигалкой кончик ее сигареты, кто-то заехал мне локтем в спину, и я чуть не упал на собеседницу. Музыка безумно грохотала, вокруг танцевали, на полу блестели лужи пива, у стойки бара творилось смертоубийство. Не было видно ничего, кроме Дантова сплетения тел и клубов дыма под потолком, но там, куда падал луч света из коридора, можно было различить то перевернутый стакан, то ярко накрашенный, искаженный хохотом

рот. Даже по хэмпденским меркам вечеринка была безобразной и обещала стать еще хуже – первокурсники с отчаянными лицами уже выстроились в очередь перед туалетом, а кое-кого рвало прямо в зале, – но была пятница, я провел всю неделю над книгами, и мне было на все наплевать. Я точно знал, что не встречу здесь своих одноклассников. Не пропустив ни одной пятничной вечеринки с самого начала занятий, я знал, что студенты Джулиана избегают подобных мероприятий, как чумы.

Блондинка уже переместилась на лестничную клетку, где было потише. Теперь можно было разговаривать спокойно, но после как минимум шести коктейлей с водкой мне в голову не приходило ни единой темы для разговора. Я даже не помнил, как ее зовут.

– Э-э, так на каком ты факультете? – спросил я наконец пьяным, непослушным голосом.

– На театральном. Ты уже спрашивал, – улыбнулась она.

– Извини, забыл.

Она критически оглядела меня:

– Слушай, тебе надо расслабиться. Посмотри на свои руки. Нельзя так напрягаться.

– Я расслаблен как никогда, – честно ответил я.

Вдруг в ее глазах вспыхнул огонек узнавания.

– Слушай, а я тебя знаю, – сказала она, оглядывая мой пиджак и галстук с изображением охоты на оленя. – Джуди мне все про тебя рассказала. Ты новенький из группы этих уродов, которые учат греческий.

– Джуди? В смысле Джуди тебе все рассказала?

Она проигнорировала мой вопрос.

– На твоём месте я была бы поосторожней. Мне про них такой жуткой хрени порассказали...

– Например?

– Например, что они поклоняются дьяволу.

– У древних греков не было дьявола, – педантично поправил ее я.

– А мне говорили другое.

– Мало ли что... Наврали.

– Я еще кое-что слышала.

– И что же?

Она упрямо молчала.

– Кто тебе вообще все это наплел? Джуди?

– Сет Гартрелл, – сказала она так, словно теперь тема была закрыта.

Как ни странно, я знал, о ком идет речь. Гартрелл был бездарным художником и злостным сплетником, лексикон его при этом состоял из одних непристойностей, гортанных междометий и слова “постмодернизм”.

– Ты общаешься с этой свиньей?..

В ее взгляде сверкнула враждебность.

– Сет Гартрелл – мой хороший друг.

Я и вправду выпил лишнего.

– Неужели? Тогда скажи-ка, откуда у его подружки все эти синяки? И правда, что он пишет на свои полотна, как Джексон Поллок?

– Сет – гений, – подчеркнуто холодно объявила она.

– Правда? Тогда он просто гениально притворяется убожеством.

– Он прекрасный художник. Очень концептуальный. На художественном факультете все так говорят.

– Ах вот оно что! Ну тогда конечно. Раз все говорят, значит, это правда.

– Сета многие не любят. – Она уже не на шутку злилась. – По-моему, ему просто завидуют!

Кто-то потянул меня сзади за рукав. Поморщившись, я дернул локтем. Это могла быть только Джуди Пуви, и хотеть она могла лишь одного – занять денег. На каждой пятничной вечеринке она разыскивала меня примерно в одно и то же время и просила взаймы.

Меня снова потянули за рукав, на этот раз более настойчиво и бесцеремонно. Я раздраженно повернулся и, попятившись в изумлении, чуть не отдал ногам оказавшейся сзади блондинке.

Передо мной стояла Камилла. Сначала я увидел только ее стальные глаза – пронзительные, ошеломленные, сияющие в тусклом свете стойки бара.

– Привет, – сказала она.

– Привет. – Я прилагал все усилия, чтобы казаться равнодушным, и все же улыбался до ушей, не в силах скрыть радость. – Как дела? Как ты здесь оказалась? Принести тебе выпить?

– Ты занят?

Мне было трудно собраться с мыслями – золотистые завитки волос так очаровательно лежали у нее на висках.

– Нет-нет, ни капельки, – ответил я, глядя не в глаза, а на эти обворожительные завитки.

– Если занят, так и скажи, – негромко сказала она, бросив взгляд за мое плечо. – Не хочу отрывать тебя...

Ах да, мисс Готье. Я обернулся, почти уверенный, что услышу ехидное замечание, но она, видимо, махнула на меня рукой и уже подчеркнуто громко болтала с кем-то другим.

– Да нет, я совершенно свободен.

– Хочешь поехать за город на выходные?

– Что?

– Мы сейчас едем, Фрэнсис и я. У него дом в часе езды отсюда.

Я был здорово пьян, иначе вряд ли бы просто кивнул и пошел за ней без дальнейших вопросов. К выходу нам пришлось пробиваться через танцпол: волны пота и жара, мигающие рождественские гирлянды, жуткая толкотня разгоряченных тел. Когда мы наконец выбрались на улицу, мне показалось, что я окунулся в прохладное, спокойное озеро. За закрытыми окнами приглушенно пульсировала дебильная музыка, сопровождаемая истошными воплями.

– Боже, ну и адское местечко, – сказала Камилла. – В каждом углу кого-нибудь рвет.

– У-ух!

Из тени деревьев на нас выскочил Фрэнсис. Мы с Камиллой отпрянули, и он чуть изогнул губы в довольной усмешке. Блеснули стеклышки фальшивого пенсне, две струйки сигаретного дыма неспешно выплыли из его ноздрей и растаяли в воздухе.

– Привет! Камилла, я уж было подумал, что ты там и останешься.

– Честно говоря, мог бы пойти со мной.

– Рад, что не пошел, тут было столько всего интересного.

– Например?

– Например, охранники вынесли какую-то девицу на носилках, а огромная черная собака напала на сборище хиппи, – засмеялся Фрэнсис и подбросил связку ключей от машины. – Ну что, готовы?

У него был старый “мустанг”, и всю дорогу мы ехали с откинутым верхом втроем на переднем сиденье. Как ни странно, раньше мне никогда не случалось ездить в кабриолете, но еще более поразительно, что я тут же уснул. Ощущение движения и взвинченные нервы нисколько не помешали, и, сам того не заметив, я уткнулся щекой в мягкую кожаную обивку дверцы: после бессонной недели я вырубился от шести коктейлей с водкой как от наркоза.

Я мало что помню о самой поездке. Фрэнсис вел машину уверенно и аккуратно: он был осторожным водителем в отличие от Генри, который всегда ездил быстро и часто лихачил, несмотря на плохое зрение. Ночной ветерок ерошил мне волосы, невнятные реплики Фрэнсиса

и Камиллы и обрывки песен по радио причудливо вплетались в мои сновидения. Казалось, мы провели в пути всего несколько минут, как вдруг все стихло и я почувствовал на плече руку Камиллы:

– Просыпайся. Приехали.

Остатки снов мешались с явью, и мне было трудно понять, где я нахожусь. Помотав головой, я приподнялся на сиденье и стер ладонью слюну со щеки.

– Что, все еще спишь?

– Да нет, – сказал я, хотя на самом деле еще не совсем проснулся. Было темно и не видно ни зги. Наконец я нащупал ручку дверцы, и только в тот момент, когда я вылезал из машины, из-за облаков показалась луна и я увидел дом. Он был просто огромный. Его чернильный силуэт с островерхими башенками и “вдовьей дорожкой” резко выделялся на фоне неба.

– Ух ты!

Я не заметил, что Фрэнсис стоит рядом, и вздрогнул, услышав его голос прямо над ухом:

– Ночью трудно понять, какой он на самом деле.

– Это твой дом?

– Нет, – рассмеялся он. – Моей тетушки. Великоват для нее, но она не расстанется с ним ни за что на свете. На лето она приезжает сюда с моими двоюродными братьями, а так здесь живет только смотритель.

В холле сладковато пахло плесенью и стоял полумрак – казалось, что скудный, рассеянный свет идет от газовых рожков. Тени от пальм в кадках, словно паутина, затягивали стены, а на потолке, таком высоком, что при одном взгляде вверх у меня закружилась голова, маячили искаженные очертания наших собственных теней. Из дальней комнаты доносились звуки фортепьяно. Длинные ряды фотографий и мрачных портретов в золоченых рамах уходили в глубь холла и исчезали из виду.

– Запах здесь, конечно, ужасный, – сказал Фрэнсис. – Если завтра будет хорошая погода, мы проветрим, а то у Банни разыграется астма от всей этой пыли... Это моя прабабушка, – сообщил он, указывая на фотографию, которая привлекла мое внимание, – а это, рядом с ней, ее брат – пошел ко дну вместе с “Титаником”, бедняжка. Недели через три его теннисную ракетку выловили в Северной Атлантике.

– Пойдем, посмотришь библиотеку, – сказала Камилла.

Мы прошли через холл, Фрэнсис чуть позади нас с Камиллой, и миновали несколько комнат. Гостиная в лимонно-желтых тонах, с зеркалами в позолоченных рамах и хрустальными люстрами, темная столовая, заставленная мебелью красного дерева... Мне так хотелось задержаться и рассмотреть это великолепие, но пришлось удовольствоваться лишь беглым обзором на ходу. Звуки фортепьяно приблизились: играли Шопена, наверное, какую-нибудь прелюдию.

На пороге библиотеки у меня перехватило дыхание, и я застыл на месте: застекленные книжные шкафы и готические панно поднимались на добрые пять метров к украшенному фресками и лепными медальонами потолку. В глубине комнаты виднелся огромный, похожий на гробницу мраморный камин, а под потолком, словно роняя сверкающие хрустальные капли, мерцал в полутьме шар роскошной газовой люстры.

Здесь стоял и рояль, за которым сидел Чарльз. На мягкой скамеечке рядом с ним я заметил стакан с виски. Чарльз был слегка пьян, и Шопен звучал небрежно, ноты сонно и плавно перетекали одна в другую. Ночной ветерок играл у него в волосах, покачивал тяжелые, изъеденные молю бархатные шторы.

– Обалдеть! – вырвалось у меня.

Музыка оборвалась, и Чарльз поднял голову:

– Наконец-то. Что так поздно? Банни вот уже спать отправился.

– А где Генри? – спросил Фрэнсис.

– Занимается. Может, еще спустится ненадолго перед сном.

Подойдя к роялю, Камилла сделала глоток виски из стакана Чарльза.

– Обязательно посмотри книги, – сказала она мне. – Представляешь, здесь есть первое издание “Айвенго”.

– По-моему, его как раз продали, – сказал Фрэнсис, усевшись в кожаное кресло и закуривая. – Да, здесь есть парочка стоящих вещей, но в остальном – сплошь Мари Корелли²⁹ и старые выпуски “Ровер бойз”³⁰.

Я подошел к полкам. Нечто под названием “Лондон” некоего Пеннанта, шесть томов в переплете из красной кожи – огромные книги, в полметра высотой. Рядом столь же массивное собрание в бледно-желтой коже – “История лондонских клубов”. Либретто “Пиратов Пензанса”³¹. Бесчисленные экземпляры “Близнецов Бобси”³². “Марино Фальеро” Байрона в черном кожаном переплете, год отпечатан на корешке золотыми буквами: 1821.

– Слушай, если хочешь виски, налей себе в стакан, – сказал Чарльз Камилле.

– Не хочу. Я хочу еще глоточек из твоего.

Одной рукой протянув ей стакан, другой Чарльз ловко пронесся по клавиатуре.

– Сыграй что-нибудь, – попросил я.

Он закатил глаза.

– Ну сыграй, – поддержала Камилла.

– Не, не хочется.

– Разумеется, он же у нас давно все позабыл, – тихонько сказал Фрэнсис притворно сочувственным тоном.

Приложившись еще раз к виски, Чарльз правой рукой сыграл короткую восходящую гамму, закончив ее бессмысленной трелью. Затем, передав стакан Камилле, освободил левую, повернулся к роялю, и трель перешла в первые такты одного из регтаймов Скотта Джоуплина.

Он играл увлеченно, с улыбкой следя за пальцами, поднимаясь от басов до верхних октав сложными синкопами, которые сделали бы честь чечеточницам на лестнице Зигфелда. Камилла, сидевшая рядом с ним, улыбнулась мне, и я, все еще словно сквозь туман, улыбнулся в ответ. Отражавшееся от высокого потолка жутковатое эхо почему-то придавало этой отчаянно веселой музыке ностальгический оттенок, и я слушал, погруженный в воспоминания о никогда не виденном.

Чарльстон на крыльях парящих над землей бипланов. Сцены на палубе тонущего корабля, музыканты по пояс в бурлящей ледяной воде лихо выводят “Старое доброе время” – прощальный геройский припев. Нет, собственно говоря, в ту роковую ночь на “Титанике” пели вовсе не “Старое доброе время”, а религиозные гимны. Гимны один за другим, католический священник без конца читал *Ave Maria*, а салон первого класса, должно быть, точь-в-точь походил на эту библиотеку: темное дерево, пальмы в кадках, розовые шелковые абажуры с подраживающей бахромой. Я и вправду слегка перебрал. Я сидел в кресле, завалившись набок и крепко вцепившись в подлокотники (“Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных...”), и даже пол у меня под ногами кренился, совсем как палубы на терпящем бедствие корабле: вот-вот мы все, вместе с роялем, издав истерическое “И-и-и!”, соскользнем к стене.

²⁹ *Мари Корелли* (настоящее имя Мэри Мэки, 1855–1924) – британская писательница. Ее романы подвергались яростным нападкам критиков, обвинявших автора в мелодраматизме и безвкусице, но имели огромный успех у читающей публики. Мари Корелли была любимой писательницей королевы Виктории.

³⁰ “*Ровер бойз*” – серия детских книг о приключениях трех мальчиков, братьев Ровер (во второй части серии фигурируют их дети). Серия состоит из 30 выпусков, опубликованных в 1899–1926 гг. Они пользовались большой популярностью и неоднократно переиздавались.

³¹ “*Пираты Пензанса*” – комическая опера английского композитора Артура С. Салливана по либретто сэра Уильяма Гилберта. Премьера состоялась в Нью-Йорке в 1879 г.

³² “*Близнецы Бобси*” – название серии детских книг. Первая книга появилась в 1904 г., последняя (72-я) – в 1979 г.

На лестнице слышались шаги, и в библиотеку, сонно щурясь, в пижаме, ввалился взлохмаченный Банни.

– Какого черта! – обиженно пробубнил он. – Разбудили меня тут...

Никто даже не посмотрел на него, и в конце концов он плеснул себе виски и со стаканом в руке зашлепал босыми ногами обратно по лестнице.

Увлекательное это все же занятие – раскладывать содержимое памяти в хронологическом порядке. До первых выходных в загородном доме мои воспоминания о той осени туманны и расплывчаты, как неудачная фотография, а начиная с этого уикенда они становятся восхитительно четкими. Именно тогда надменные манекены, какими казались мои новые знакомые, начали зевать, потягиваться – одним словом, оживать. Конечно, прошло еще немало времени, прежде чем таинственное очарование и лоск новизны, не дававшие мне взглянуть на них объективно, исчезли без следа (хотя, надо сказать, их подлинная жизнь оказалась гораздо интереснее любой из версий, что рисовало мое воображение), но именно тогда за масками непреступных чужаков я впервые различил черты своих будущих друзей.

Сам себе в этих ранних воспоминаниях я представляюсь настороженным, недовольным, до странности молчаливым незнакомцем. Всю жизнь люди принимали мою застенчивость за угрюмость, снобизм, плохое настроение и тому подобное. “Хватит корчить такую надменную рожу!” – случалось, орал отец, когда я ел, смотрел телевизор или занимался каким-нибудь другим столь же безобидным делом. Однако черты лица (а дело, я думаю, именно в них – уголки моих губ обычно слегка опущены, но с настроением это никак не связано), которые так часто оказывали мне дурную услугу, иногда играли мне на руку. Месяцы спустя после знакомства с неразлучной пятеркой я с удивлением выяснил, что поначалу был для них не меньшей загадкой, чем они для меня. Я был твердо уверен, что они видят во мне неуклюжего провинциала, и не мог даже вообразить, что в моем поведении для них кроется нечто загадочное. Между тем именно так оно и было. Почему, спрашивали они меня потом, почему я ни словом не обмолвился о своем прошлом? Почему так старательно избегал их? (В ответ на этот вопрос я опустил глаза, осознав, что манера прятаться за первой попавшейся дверью вовсе не была гениальным шпионским трюком.) И почему, спрашивается, ни разу не пригласил их к себе, после того как сам побывал в гостях? Я-то думал, они пытаются уничтожить меня презрением, а на самом деле они просто ждали, с безупречной вежливостью незамужних тетюшек, что я сделаю ответный шаг.

Но как бы то ни было, именно тот уикенд ознаменовал начало перемен. Темные промежутки между фонарями стали короче и случались реже – верный признак того, что поезд приближается к знакомым местам и скоро в окнах замелькают ярко освещенные улицы родного города. Дом был их козырем, их ненаглядным сокровищем, и в те выходные они показывали его мне не торопясь, постепенно, словно пытаясь растянуть удовольствие: головокружительные комнатухи в угловых башенках, высоченный чердак – балки едва различимы в полумраке, увешанные колокольчиками огромные старые сани в подвале, в которые, наверное, когда-то запрягали четверку лошадей. В бывшем сарае для экипажей теперь жил смотритель. (“Кстати, вот идет миссис Хэтч. Милейшая женщина, но муж у нее – адвентист седьмого дня или что-то в этом роде, очень строгий. Когда он заходит в дом, мы тут же убираем спиртное. – А то что? – А то он впадет в депрессию и начнет разбрасывать по всему дому душеспасительные брошюры”.)

Чуть позже мы прогулялись к озеру (как выяснилось, землевладельцы, имения которых располагались на его берегах, договорились, что озеро будет находиться в общем пользовании). По дороге мне показали теннисный корт и старую беседку – толос³³ с дорическими колоннами,

³³ Толос – в древнегреческой архитектуре круглое строение с конической или сводчатой крышей, иногда обнесенное колон-

стилизованный под храмы Помпеи в соответствии с эстетическими воззрениями Стэнфорда Уайта³⁴, и, как язвительно добавил Фрэнсис, которого раздражали эти викторианские потуги на классицизм, достойный послужить декорацией к фильмам Гриффита и Демилля³⁵. Эта гипсовая бутафория, сообщил он, в свое время была заказана по каталогу *Sears, Roebuck & Company* и доставлена в разобранном виде. Парк кое-где сохранил остатки своего первоначального, по-викториански правильного и опрятного вида: осушенные пруды, где раньше плавали карпы, длинные белые колоннады, которые когда-то увивал плющ, аккуратно выложенные камнями границы дорожек между клумбами, где цветов давно уже не было и в помине. Однако по большей части эти следы былого величия едва проступали: живые изгороди буйно разрослись, а местные породы деревьев – лиственницы и ржавые вязы – совсем задушили оставшиеся кое-где айву и араукарию.

Безупречно гладкая поверхность озера, притаившегося среди берез, ярко блестела на солнце. В зарослях тростника виднелась маленькая деревянная лодка, белая снаружи и синяя внутри.

– А мы можем на ней покататься? – с любопытством спросил я.

– Конечно. Только не все вместе, а то утонем.

Я не плавал на лодке ни разу в жизни. Со мной отправились Генри и Камилла. Генри положил пиджак на банку и, закатав рукава по локоть, взялся за весла. Позже я хорошо познакомился с его манерой раздражаться увлеченными, дидактическими, абсолютно самодостаточными монологами на тему, увлекавшую его в данный момент: племена катувеллаунов, поздняя византийская живопись, охота за головами на Соломоновых островах. В тот день, я помню, он говорил о Елизавете и Лестере: убитая жена, королевская барка, королева верхом на белом коне обращается к войскам у форта Тилбери, а Лестер и граф Эссекский держат повод... Поскрипывание весел и убаюкивающее гудение стрекоз сливались с его монотонным профессорским голосом. Камиллу клонило в сон, ее щеки горели румянцем, рука свесилась в воду за бортом. Облетавшие с берез желтые листья медленно кружились в воздухе и опускались на озерную гладь. Лишь много лет спустя, далеко-далеко от тех мест я прочитал в «Бесплодной земле» Элиота эти строки:

Елизавета и Лестер
Под взмахи весел
Корма красовалась
Ракушкой морской
Красной и золотой
Рябью внезапной
Подернулся берег
Ветер с востока
Нес над потоком
Россыпь колоколов
Белые башни
Вайалала лайа
Валлала лайлала³⁶

надой.

³⁴ Стэнфорд Уайт (1853–1906) – знаменитый архитектор, в творениях которого воплощен дух «американского ренессанса».

³⁵ Дэвид Уорк Гриффит (1875–1948) и Сесиль Блаунт Демилль (1881–1959) – американские кинорежиссеры и продюсеры, снимавшие масштабные исторические картины.

³⁶ Перевод Д. Бородкина.

Мы доплыли до другого берега и повернули назад, почти ослепленные блеском воды. Вернувшись, мы застали Банни и Чарльза на веранде. Они играли в карты, жуя сэндвичи с ветчиной.

- Эй, выпейте скорей шампанского! – приветствовал нас Банни. – А то выдохнется.
- Где оно?
- Вон, в заварочном чайнике.
- Мистер Хэтч пришел бы в ярость, если б увидел на веранде бутылку, – пояснил Чарльз. Они играли в “пьяницу” – это была единственная карточная игра, которую знал Банни.

В воскресенье я проснулся рано. В доме стояла тишина. Накануне вечером Фрэнсис отдал мою одежду миссис Хэтч в стирку и одолжил мне купальный халат; накинув его, я спустился, собираясь, пока никто не проснулся, немного посидеть на веранде в одиночестве.

Снаружи было прохладно и безветренно, небо подернуто белесой дымкой, какая бывает только осенним утром, плетеные стулья мокры от росы. Живые изгороди и лужайку перед домом накрыла сеть паутинок, на которых, словно изморозь, искрились бусинки росы. Готовясь к перелету на юг, ласточки беспокойно сновали у карнизов; издалека, с другого берега озера, укутанного одеялом тумана, донесся резкий одинокий утиный крик.

- Доброе утро, – раздался ровный голос у меня за спиной.

Вздвигнув, я обернулся и увидел, что на другом краю веранды сидит Генри. Он был без пиджака, но в остальном – в такую-то рань – одет безупречно: острые стрелки брюк, сияющая белизной накрахмаленная рубашка. На столике перед ним, среди книг и бумаг, примостились кофеварка эспрессо, испускавшая облачка пара, и маленькая чашечка, а в пепельнице я с удивлением заметил дымящуюся сигарету без фильтра.

- Что-то ты спозаранку, – сказал я.
- Я всегда встаю рано. По утрам мне работается лучше всего.
- Чем занимаешься? Греческим? – спросил я, взглянув на книги.

Генри поставил чашку на блюдце:

- Перевожу “Потерянный рай”.
- На какой язык?
- На латынь, – торжественно произнес он.
- Вот как. А зачем?

– Хочу посмотреть, что у меня выйдет. На мой взгляд, Мильтон – величайший английский поэт, я, например, ставлю его выше Шекспира, но иногда мне становится досадно, что он предпочитал писать по-английски. Конечно, он сложил немало стихов на латыни, но это было еще в студенческие годы. В “Потерянном рае” он доводит английский до пределов возможного, но я думаю, что язык без падежных окончаний в принципе не может поддержать тот структурный порядок, к торжеству которого он стремится.

Генри опустил сигарету в пепельницу. Как зачарованный, я следил за поднимавшейся струйкой дыма.

- Хочешь кофе?
- Нет, спасибо.
- Надеюсь, ты спал хорошо.
- Да, очень.

– Мне здесь спится гораздо лучше, чем где бы то ни было, – сказал Генри, поправляя очки и склоняясь над словарем. Легкая сутулость плеч выдавала усталость и напряжение, которые я, ветеран многих бессонных ночей, тут же распознал. Внезапно я понял, что этот его неблагодарный труд был, скорее всего, просто средством скоротать ранние часы, сродни кроссвордам, над которыми убивают время многие жертвы бессонницы.

- Ты всегда так рано встаешь?

– Почти всегда, – ответил он, не поднимая глаз от бумаг. – Здесь очень красиво, но дело в том, что даже самые вульгарные вещи не вызывают отвращения на рассвете.

– Понимаю, о чем ты, – сказал я. Я действительно хорошо знал это чувство. Плано не казался мне невыносимым только ранним утром, когда на улицах не было ни души и сухая трава, сетчатые заборы, одинокие низкорослые дубы – все было окутано мягким золотистым светом.

Генри оторвался от книг и посмотрел на меня почти с любопытством:

– Должно быть, тебе не очень нравилось там, где ты жил раньше?

Этот образчик дедукции в духе Шерлока Холмса изумил меня.

Заметив мое смущение, Генри улыбнулся:

– Не волнуйся. Ты скрываешь это очень умело. – Он снова углубился в книгу, но через пару мгновений поднял глаза. – Знаешь, наши едва ли способны понять такие вещи.

Он произнес это без злости, без сочувствия, как бы мимоходом. Я даже не уверен, что правильно интерпретировал его слова, но именно тогда я впервые почувствовал нечто, чего раньше совсем не понимал: почему все остальные так любят его. Взрослые дети (да, понимаю, оксюморон) инстинктивно тянутся к крайностям: молодой ученый – гораздо больший педант, чем его старший коллега. И я, тоже будучи молод, принимал эти высказывания Генри очень близко к сердцу. Сомневаюсь, что сам Мильтон смог бы сильнее поразить мое воображение.

Наверно, в жизни каждого человека есть критический период, когда характер определяется раз и навсегда. Для меня это был первый осенний семестр в Хэмпдене. Я прекрасно сознаю, сколь многие привычки (приобретенные, должен признаться, по большей части в подростковом подражании остальным студентам Джулиана) сохранились у меня до сих пор: манера одеваться, литературные вкусы, даже любимые блюда. Спустя годы мне не составляет ни малейшего труда припомнить распорядок дня моих друзей, вскоре ставший и моим собственным. При любых обстоятельствах они жили по часам, почти не оставляя места хаосу, который раньше казался мне неотъемлемым атрибутом студенческой жизни, – беспорядочное питание и занятия, полуночные походы в прачечную. В определенные промежутки времени, даже если мир грозил рухнуть, можно было не сомневаться, что Генри сидит в круглосуточно открытом зале библиотеки или что искать Банни совершенно бесполезно, потому что он ушел на свидание с Марион, как всегда по средам, или на свою обычную воскресную прогулку. (И так же, как Римская империя продолжала функционировать, даже когда людей, способных править ею, уже не осталось, да и сама имперская идея давно погибла, наш ежедневный распорядок не изменился и в ужасные дни после смерти Банни. Всегда, всегда, вплоть до самого конца, по воскресеньям мы ужинали у Чарльза с Камиллой – за исключением вечера убийства, когда есть никому не хотелось и традиционный ужин перенесли на понедельник.)

Я был очень удивлен тем, с какой легкостью им удалось ввести меня в цикличный, поистине византийский круговорот своего существования. Они так привыкли друг к другу, что, наверное, видели в моем присутствии приятный элемент разнообразия, к тому же их интриговали даже самые заурядные мои привычки: пристрастие к детективам и регулярные походы в кино; то, что я пользовался одноразовыми бритвами и никогда не ходил в парикмахерскую, а стригся сам; даже то, что я читал газеты и время от времени смотрел новости по телевизору. Этот факт казался им верхом чудачества, эксцентричной особенностью, присущей мне одному. Никому из них не было абсолютно никакого дела до того, что происходит в мире; их невежество в области современной жизни и истории последних десятилетий поражало. Однажды за ужином Генри чуть не потерял дар речи, услышав от меня, что люди побывали на Луне.

– Не может быть, – сказал он потрясенно и отложил вилку.

– Правда-правда, – хором поддержали меня остальные, где-то умудрившиеся почерпнуть эту информацию.

– Не верю.

– Я сам видел, – подтвердил Банни. – По телику как-то показывали.

– Но как они туда попали? Когда это вообще произошло?

Когда мы собирались вместе, они все еще подавляли меня своим нерушимым единством, и по-настоящему близко я узнал их только поодиночке. Зная, что я тоже засиживаюсь допоздна, Генри иногда заезжал ко мне ночью по дороге из библиотеки домой. Фрэнсис – жуткий ипохондрик, который просто не мог ходить к врачу один, – часто уговаривал меня составить ему компанию, и, как ни странно, мы подружились именно во время этих поездок к аллергологу в Манчестер, к “ухо-горло-носу” в Кин и так далее. Той осенью ему больше месяца лечили зуб – сперва удаляли нерв, потом пломбировали канал. Каждую среду после полудня, белый как мел, он молча появлялся на пороге моей комнаты, и мы отправлялись в Хэмпден, в бар неподалеку от стоматологии, где сидели до трех часов, когда ему нужно было идти на прием. Я сопровождал его якобы для того, чтобы вести машину на обратном пути, пока он будет приходить в себя после веселящего газа, но, поскольку я дожидался его в баре, к тому моменту, когда он выходил от врача, наши возможности вести машину уже оказывались примерно на одном уровне.

Больше всего мне нравились близнецы. Они обращались со мной так радушно и неприужденно, словно мы знакомы сто лет. К Камилле я питал особое чувство, но, как бы мне ни было приятно ее общество, я ощущал себя при ней слегка скованно, и дело было вовсе не в недостатке обаяния или сердечности с ее стороны, а в том, что я слишком сильно жаждал произвести на нее впечатление. Я всегда с нетерпением ждал, когда снова ее увижу, и думал о ней беспокойно и часто, и все же куда уютней мне было в компании Чарльза. Импульсивный и добрый, он очень походил на сестру, но был больше подвержен перепадам настроения. Порой он надолго замыкался в себе, однако обычно бывал весел и разговорчив. В любом случае общаться с ним мне было легко. Одолжив у Генри машину, мы с ним ездили в Мэн, где он традиционно заказывал клубный сэндвич в своем любимом тамошнем баре, в Беннингтон, в Манчестер, на собачьи бега в Паунал. Оттуда он в результате притащил домой старую борзую – она больше не могла участвовать в соревнованиях, и Чарльз спас ее от усыпления. Собаку звали Фрост. Она привязалась к Камилле и ходила за ней по пятам. Генри цитировал по памяти пассаж про Эмму Бовари и ее итальянскую борзую: *Sa pensée, sans but d'abord, vagabondait au hasard, comme sa levrette, qui faisait des cercles dans la campagne...*³⁷ Но борзая была слабой и очень нервной, и однажды ясным декабрьским утром, когда она с радостным лаем бросилась в погоню за белкой, с ней случился сердечный приступ. В этом не было ничего неожиданного, служитель на треке предупредил Чарльза, что собака, возможно, не протянет и недели, но близнецы все равно ужасно расстроились, и в тот день мы с грустью похоронили ее в саду за домом, где одна из тетюшек Фрэнсиса устроила в свое время кошачье кладбище, полное маленьких надгробий.

Собака питала симпатию и к Банни и частенько сопровождала нас с ним во время долгих воскресных прогулок – через ручьи и ограды, по болотам и пастбищам. Банни, страстно любивший ходить пешком, сам напоминал старую гончую. Его прогулки были такими утомительными, что никто, кроме меня и собаки, не соглашался составить ему компанию, но именно благодаря этим походам я хорошо изучил места вокруг Хэмпдена – все эти лесовозные дороги и охотничьи тропы, затерявшиеся водопады и скрытые в глуши озерца.

Марион, подруга Банни, почти не показывалась на нашем горизонте – думаю, отчасти потому, что этого не хотел Банни, но прежде всего потому, что мы, видимо, интересовали ее еще меньше, чем она нас. (“Ей больше нравится быть со своими подругами, – хвастался Банни мне и Чарльзу. – Они болтают о тряпках и перебивают косточки парням, всякая такая

³⁷ “Ее мысли, вначале неопределенные, блуждали без цели, как ее левретка, что кружила по полям...” (фр.). Г. Флобер. Госпожа Бовари. Перевод А. Чеботаревской.

мура”). Невысокая и круглолицая, эта вздорная блондинка из Коннектикута была вполне симпатичной, если придерживаться тех стандартных представлений о внешности, согласно которым Банни можно было назвать красивым молодым человеком. Ее одежда представляла собой шокирующую смесь гардероба школьницы и матери семейства: юбки в цветочек, свитера с вышитыми инициалами, а также сумочки и туфли, непременно подходившие по цвету к свитерам. По дороге на занятия я иногда замечал ее, каждый раз в новом свитерке, на детской площадке Центра развития малышей. Этот центр был какой-то частью факультета начального образования, и дети из Хэмпден-тауна ходили туда в садик. За ними-то Марион и надзирала, пытаясь яростными звуками свистка заставить детишек закрыть рты и разбиться на пары.

Хотя никто не распространялся об этом, я постепенно понял, что попытки приобщить Марион к развлечениям группы закончились полным провалом. Ей нравился Чарльз, который всегда вел себя очень вежливо и к тому же обладал удивительной способностью поддерживать оживленную беседу с кем угодно, от маленьких детей до официанток, Генри внушал ей, как и большинству знавших его людей, боязливое уважение, но она ненавидела Камиллу, а с Фрэнсисом у нее произошел какой-то катастрофический инцидент – настолько чудовищный, что никто о нем даже не заикался. Отношения, существовавшие между Марион и Банни, мне доводилось наблюдать разве что у супругов, проживших вместе по меньшей мере лет двадцать: отношения, постоянно колебавшиеся между трогательной заботой и мелочной раздражительностью. Марион вела себя очень по-командирски, обращаясь с Банни почти как со своими детсадовцами, да и Банни был похож на избалованного ребенка: то подлизывался к ней, то свелся обожанием, то дулся. Ее придирки он, как правило, сносил спокойно, но, когда терпение у него лопалось, происходили жуткие сцены. Растрепанный, с безумными глазами, помятый еще больше обычного, он, бывало, стучался ко мне в комнату поздно вечером, бормоча: “Впусти меня, старина, ты просто обязан мне помочь, Марион вышла на тропу войны...” Через несколько минут раздавался аккуратный и настойчивый стук в дверь. Это была Марион – губы ниточкой, этакая сердитая куколка.

– Банни у тебя? – спрашивала она, встав на цыпочки и сию секунду заглянуть мне через плечо.

– Нет.

– Правда?

– Марион, его здесь нет.

– Банни! – угрожающе взывала она.

Ответа не было.

– Ба-а-анни!!!

И тут, повергая меня в страшное смущение, за моей спиной появлялся Банни:

– Привет, солнышко.

– Ты где был?

Банни только мекал в ответ.

– Думаю, нам нужно поговорить.

– Зайка, я занят.

– Тогда... – она бросала взгляд на свои изящные часики от Картье, – я иду домой. И через полчаса ложусь спать.

– Вот и славненько.

– Значит, увидимся минут через двадцать.

– Э, погоди-ка, я, кажется, не сказал, что...

– В общем, жду тебя, – говорила Марион и исчезала.

– Я не пойду! – возмущенно орал Банни.

– Я бы на твоём месте ни за что не пошел.

– Да что она себе воображает!

– Просто не ходи.

– Нет, я ее проучу! Давно пора было! Я занятой человек. Дел по горло. И я не собираюсь ни перед кем отчитываться!

– Вот именно.

Наступала неловкая тишина. Наконец Банни поднимался со стула:

– Ну ладно, мне пора.

– Ага. Счастливо, Бан.

– Только не воображай, что я иду к Марион, – словно оправдываясь, добавлял он.

– Я и не думал, ну что ты.

– Угу, – рассеянно кивал головой Банни и уносился прочь.

На следующий день они с Марион вместе появлялись в столовой или прогуливались под ручку возле детской площадки.

– Так значит, вы с Марион помирились? – спрашивали мы, как только встречали его одного.

– Вроде того, – сконфуженно признавался Банни.

Уикенды в доме Фрэнсиса были самым счастливым временем. Той осенью листья пожелтели рано, но погожие дни стояли почти до конца октября, так что большую часть выходных мы проводили на улице. Не считая редких и вялых партий в теннис (отчаянный взмах, звонкий удар с лету – и мяч улетает за ограду корта, а оба игрока принимаются удрученно шарить ракетками в высокой траве), мы не предавались никаким атлетическим забавам – что-то в этом месте вдохновляло на восхитительную, роскошную лень, какой я не наслаждался с детства.

Впрочем, как я сейчас понимаю, мы весь день, хотя и понемногу, что-нибудь пили: струйка алкоголя начиналась с “кровавой Мэри” за завтраком и не иссякала до глубокой ночи. Пожалуй, это и было главной причиной нашего заторможенного состояния. Выбравшись на веранду с книгой, я тут же засыпал в кресле; взяв лодку, я вскоре уставал грести и часами дрейфовал по озеру. (О, эта лодка! Когда меня мучает бессонница, я пытаюсь представить, что лежу в ней, положив голову на стяжку кормы. Вода глухо плещется о деревянные борта, а желтые листья берез медленно кружатся в воздухе и, падая, касаются моего лица.) Периодически мы затевали что-нибудь более экзотическое. Однажды Фрэнсис нашел в ящике ночного столика своей тетушки беретту с запасом патронов, и некоторое время мы с небывалым азартом соревновались в стрельбе. (Борзая после всех своих бесчисленных забегов принимала каждый выстрел за сигнал стартового пистолета, и мы заперли ее в подвале.) Мишенями нам служили банки из-под краски. Мы расставляли их в ряд на плетеном чайном столике, который вытащили во двор. Однако это увлечение пришлось прекратить, когда Генри, страдавший сильной близорукостью, нечаянно подстрелил утку. Происшествие сильно его огорчило, и беретту убрали с глаз долой.

Кроме меня и Банни, все в нашей компании любили крокет, но мы с ним так и не освоили эту игру и лупили по мячу на манер неопытных гольфистов. Иногда, повинуясь неожиданному приливу бодрости, мы отправлялись на пикник. Поначалу все горело желанием устроить что-нибудь экстраординарное – тщательно составляли меню, выбирали удаленное и неизведанное местечко, – но заканчивалось все одним и тем же: осоловевшие от жары, сонные и изрядно набравшиеся, мы с трудом заставляли себя подняться и плелись домой, волоча сумки с одеялами и посудой. Обычно же мы просто валялись весь день на лужайке перед домом, потягивая мартини из термоса и наблюдая, как блестящая черная ниточка муравьев извивается на тарелке с остатками кекса. Наконец термос пустел, солнце заходило, и мы неохотно брели домой ужинать.

Вечера, когда приглашение на ужин в загородном доме принимал Джулиан, были особыми, торжественными событиями. Фрэнсис заказывал тонну разных продуктов, часами листал поваренные книги и нервничал, раздумывая над тем, что приготовить, какое вино

подать, какой сервиз поставить на стол и какое блюдо иметь в запасе на случай, если суфле не поднимется. Смокинги отправлялись в химчистку, из цветочного магазина доставляли букеты, Банни убирал подальше “Невесту Фу Манчу” и расхаживал по дому с томиком Гомера.

Не понимаю, зачем на подготовку тратилось столько сил. К приезду Джулиана мы, естественно, бывали измотаны и взвинчены до предела. Эти вечера нелегко давались всем участникам, включая, я уверен, и почетного гостя. Впрочем, он вел себя безупречно – элегантен, остроумен, любезен и в восторге от всего – пусть и принимал в среднем лишь одно из трех таких приглашений. У меня плохо получалось скрывать душевное напряжение: мое знание этикета оставляло желать лучшего, смокинг с чужого плеча сковывал движения. Все остальные были гораздо опытнее в подобном притворстве. Бывало, за пять минут до появления Джулиана они, обмякнув, сидели на диванах в гостиной – во взглядах полное изнеможение, пальцы то и дело тянутся к воротничкам, шторы задернуты, в кухне на мармите томится ужин. Однако, как только раздавался звонок, спины мгновенно выпрямлялись и в гостиной воцарялась оживленная беседа; даже смокинги, только что казавшиеся измятыми, теперь выглядели безукоризненно.

Тогда эти ужины казались мне мучительным испытанием, но сейчас, в воспоминаниях, они оборачиваются чем-то невыразимо прекрасным: темное сводчатое подземелье столовой, потрескивание поленьев в очаге, призрачная бледность и странное сияние наших лиц. Свет от камина растягивал наши тени, сверкал на столовом серебре, бросал отсветы на высокие стены; огненное отражение горело в окнах, словно снаружи погибал охваченный пожаром город. Пламя гудело и трепетало, так что казалось, будто под потолком, отчаянно пытаюсь вырваться на волю, мечется стайка птиц. И я бы, наверное, нисколько не удивился, если бы длинный банкетный стол красного дерева, накрытый белой скатертью, уставленный фарфоровыми блюдами, подсвечниками, вазами с фруктами и цветами, просто растворился в воздухе, как волшебный сундук из сказки.

Мои мысли снова и снова возвращаются к одной картине тех вечеров – она не дает мне покоя, словно навязчивый сюжет, исподволь повторяющийся в каждом сне. Джулиан встает с почетного места во главе стола и поднимает бокал с вином. “Живите вечно”, – произносит он.

И все мы встаем следом за ним и, будто отряд кавалеристов, скрещивающих сабли, со звоном сдвигаем бокалы: Генри и Банни, Чарльз и Фрэнсис, Камилла и я. “Живите вечно!” – хором откликаемся мы и единым жестом подносим бокалы к губам.

Всегда, всегда один и тот же тост. Живите вечно.

Сейчас я недоумеваю, как, проводя с ними столько времени, я почти не догадывался о том, что происходило в конце того семестра. Вообще-то в сугубо физическом плане замечать было практически нечего – для этого они были слишком умны, – но я, пораженный своего рода намеренной слепотой, не обращал внимания даже на те мелкие странности, которые все же проскальзывали сквозь созданную ими броню. Иначе говоря, я никак не желал расставаться с иллюзией, что их отношение ко мне абсолютно искреннее, что мы друзья и между нами никаких секретов, хотя безусловная правда заключалась в том, что во многие вещи они не спешили посвящать меня даже спустя долгое время после знакомства. Старательно игнорируя этот факт, в глубине души я все прекрасно понимал. Я знал, например, что мои друзья иногда делали что-то впятером, не приглашая меня (хотя и не знал, что именно), а будучи застигнуты врасплох, лгали дружно и весьма правдоподобно. Настолько убедительно звучали их слова, настолько блестяще освоили они контрапункт и вариации вранья (непогрешимо беспечные рассказы близнецов вели вдохновенную тему на фоне шутовской болтовни Банни или раздраженно-скучающего тона Генри, в который раз воспроизводившего цепочку тривиальных событий), что я обычно верил им, зачастую вопреки неумолимым свидетельствам обмана.

Конечно, сейчас, возвращаясь в прошлое, я вижу признаки происходившего – отдадим им должное, признаки весьма скромные, – взять хотя бы их манеру таинственно исчезать на несколько часов, а в ответ на вопрос, где же их носило, напускать туману; их загадочные шутки, беглые замечания на греческом или, хуже того, на латыни, явно для меня не предназначенные. Естественно, мне это не нравилось, но, с другой стороны, ничего необычного или тревожного здесь не было; только гораздо позже мне открылся жуткий смысл некоторых из тех реплик и шуток. Скажем, к концу семестра Банни приобрел несносную привычку громогласно раздражаться песенкой “Фермер из долины”. Бесконечное повторение куплетов казалось мне утомительным, но не более, и я только пожимал плечами, видя дикое беспокойство остальных, – теперь-то я понимаю, что от этого детского мотивчика душа у них уходила в пятки.

Разумеется, кое-что все-таки привлекало мое внимание. В конце концов, мы действительно много общались, только слепой не заметил бы ничего. Однако, как правило, это были случайности, расхождения, по большей части настолько незначительные, что вы и сами поймете, насколько смехотворными оказались бы любые подозрения. Например, все пятеро были крайне предрасположены к мелким бытовым травмам. Их вечно царапали кошки, им то и дело случалось порезаться при бритье или споткнуться в темноте о табуретку – разумные объяснения, бесспорно, но такое обилие синяков и ссадин у людей, ведущих сидячий образ жизни, не могло не удивлять. Странной казалась и их постоянная озабоченность погодой. На мой взгляд, они не занимались ничем таким, чему могла бы помешать буря или поспособствовать солнечный денек. Тем не менее погода была у них общим пунктиком, особенно по этому поводу тревожился Генри. В первую очередь его волновали резкие спады температуры; порой, ведя машину, он, словно капитан корабля перед штормом, принимался яростно крутить ручки приемника в поисках сообщений об атмосферном давлении, долгосрочных прогнозов и вообще любых метеосводок. Сообщение об ожидаемом низком давлении повергало его в необъяснимое уныние. Что же будет зимой, думал я, но, едва выпал первый снег, этот острый интерес к погоде исчез без следа.

Мелочи. Помню, как-то я проснулся в шесть утра, спустился на кухню и обнаружил, что кто-то недавно вымыл пол, он еще был влажным и блестел – безупречная работа, если бы не таинственный отпечаток босой ноги Пятницы на песчаной отмели между нагревателем и верандой. Иногда по ночам я различал сквозь сон обрывки разговоров, скрип ступеней, поскуливание борзой, царапавшейся под дверью моей спальни. Однажды я ненароком подслушал, как близнецы шептались о каких-то простынях.

– Глупый, – пробормотала Камилла, и на секунду передо мной мелькнула изорванная и заляпанная грязью ткань, – ты не те взял. Мы не можем вернуть их в таком виде.

– Подумаешь, вернем другие.

– Нет, они догадуются. В прокате прачечной на все ставят штамп. Придется сказать, что мы их потеряли.

Хотя я не стал долго размышлять над этим разговором, он меня озадачил, тем более что близнецы явно смутились, когда я поинтересовался, в чем дело. Еще одну загадку я обнаружил однажды днем на кухне: на дальней горелке плиты, испуская необычный запах, булькал большой медный котел. Я поднял крышку, и мне в лицо ударили клубы едкого и горького пара. В почерневшем кипятке плавали узкие заостренные листья. Что за черт, подумал я, удивившись, и приготовился посмеяться, но когда я спросил об этом вареве Фрэнсиса, он отрезал без тени улыбки: “Мой настой для ванны”.

Оглядываясь назад, так легко расставить все части головоломки по местам. Но я был слеп ко всему, кроме собственного счастья. Могу лишь добавить, что сама жизнь казалась мне тогда волшебной: сплетение символов, совпадений, предчувствий, знамений. Каждый день был чудесным продолжением дня вчерашнего; шаг за шагом являло себя некое лукавое, но благосклонное провидение, и я ощущал дрожь человека, стоящего на пороге поразительного откры-

тия, как будто одним прекрасным утром все должно сойтись в высшей точке – мое будущее, прошлое, вся моя жизнь, – а я, подскочив на кровати, только и смог бы, что издавать ошеломленные возгласы не уместящегося в словах восторга.

Той осенью мы провели в загородном доме столько восхитительных дней, что сейчас, по прошествии лет, они сливаются в пеструю, милую сердцу кутерьму. С приближением Хеллоуина исчезли последние, самые стойкие полевые цветы и задул резкий, порывистый ветер, сметавший на серую, измятую волнами поверхность озера ворохи желтых листьев. В такие промозглые дни, когда по свинцовому небу бежали тяжелые тучи, мы не вылезали из библиотеки, то и дело подкладывая дрова в затопленный с утра камин. Голые ивовые ветви постукивали по стеклам, словно костяшки скелетов. На одном конце стола близнецы играли в карты, на другом занимался Генри, а Фрэнсис, уютно устроившись в нише окна с тарелкой канапе, читал мемуары герцога Сен-Симона в оригинале – почему-то он решил непременно одолеть этот объемистый труд. Фрэнсис учился в нескольких европейских школах и говорил по-французски безупречно, если не считать ленивого, снобистского акцента, который отличал и его английский. Иногда я просил его помочь мне, когда разбирал тексты из начального курса французского – занудные рассказы из серии “как Мари и Жан-Клод ходили в табачную лавку”; он зачитывал их с такой томной протяжностью (*Marie – a apporté – des légumes – à son frère*³⁸), что все чуть не каталось по полу от смеха. Растянувшись на коврике перед камином, Банни делал домашнее задание; время от времени он исподтишка таскал у Фрэнсиса канапе или со страдальческим видом задавал какой-нибудь дурацкий вопрос по грамматике. Притом что греческий давался ему со скрипом, он изучал его гораздо дольше остальных – с двенадцати лет, – чем без конца хвастался, намекая, что это был детский каприз, раннее проявление гениальности в духе Александра Поупа³⁹. На самом деле, как я узнал от Генри, у Банни была сильная дислексия и курс древнегреческого ему навязали в школе: там придерживались теории, что изучение языков, в которых не используется латинский алфавит – греческого, иврита или русского, – оказывает терапевтическое воздействие на детей, неспособных научиться читать обычным способом. Как бы то ни было, истинные лингвистические таланты Банни были гораздо скромнее его претензий, и даже с простейшим заданием он не мог справиться без постоянных вопросов, жалоб и набегов на кухню. К концу семестра у него началось обострение астмы. С всклокоченными волосами, в наброшенном поверх пижамы халате, он бродил по дому, хрипло дыша и театральным жестом поднося ко рту ингалятор. Мне по секрету сообщили, что таблетки против астмы вызывают у него бессонницу и нарушение пищеварения. На это побочное действие лекарств я и списывал тогда повышенную раздражительность Банни. Как выяснилось позже, причина коренилась совсем в другом.

Даже не знаю, о чем вам еще рассказать. Может, о том, как в одну декабрьскую субботу около пяти утра Банни пронесся по дому, как слон, прыгая по нашим кроватям с воплями “Первый снег!”? Или как Камилла учила меня танцевать бокс-степ, или как Банни перевернул лодку (в которой, кроме него, были Генри и Фрэнсис), потому что ему померещилась водяная змея? Или о том, как мы отмечали день рождения Генри, или о тех двух случаях, когда к нам, волоча за собой йоркширского терьера и второго мужа, неожиданно пожаловала мать Фрэнсиса? (Его матушка была той еще штучкой – ярко-рыжие волосы, изумрудное ожерелье, невообразимые туфельки из крокодиловой кожи. Крис, ее новый муж, играл эпизодическую роль в нескончаемой мыльной опере и был лишь несколькими годами старше Фрэнсиса. Звали ее Оливия. Когда я познакомился с ней, она только что выписалась из Центра Бетти Форд,

³⁸ Мари – принесла – брату – овощей (*фр.*).

³⁹ Александр Поуп (1688–1744) – английский поэт. Выдающиеся способности Поупа проявились в раннем детстве. По утверждению (не вполне, впрочем, достоверному) самого поэта, первое стихотворение (“Ода одиночеству”) было написано им в двенадцатилетнем возрасте.

излечившись от алкоголизма и пристрастия к какому-то наркотику, и с нескрываемой радостью вновь устремлялась на проторенную тропу греха. Чарльз рассказал мне, что как-то раз она постучалась к нему среди ночи и спросила, нет ли у него настроения присоединиться к ней с Крисом в постели. Я до сих пор получаю от нее открытки на Рождество.)

Впрочем, один из тех дней словно выгравирован в моей памяти: ослепительно солнечная суббота, последний по-летнему теплый денек октября. Накануне – кстати сказать, было довольно холодно – мы болтали и пьянствовали почти до утра. Проснулся я поздно. Было душно, меня слегка мучило, одеяла сбились в изножье кровати, а комнату заливал яркий свет. Очень долго я лежал не шевелясь. Солнце сквозь веки обжигало глаза, ноги под ворохом одеял зудели от жары. Весь дом подавленно замер в беззвучном мареве.

Я медленно спустился по скрипучей лестнице. Дом казался покинутым. Наконец в тенистой части веранды я обнаружил Фрэнсиса и Банни. Банни сидел в футболке и бермудах, Фрэнсис накинул заношенный махровый халат, украденный из отеля. На его неестественно бледном лице альбиноса горели розовые пятна, а прикрытые веки почти явственно подрагивали от боли.

Они пили “устрицы прерий”. Фрэнсис, не глядя, подвинул ко мне свой бокал:

– Вот, выпей. Еще один взгляд на эту гадость – и меня вырвет.

В кровавой ванне кетчупа и вустерского соуса, словно живой, подрагивал желток.

– Нет уж, спасибо, – сказал я, отодвигая бокал.

Откинувшись в кресле, Фрэнсис скрестил ноги и страдальчески сжал пальцами переносицу.

– И зачем я только готовлю эту отраву? – простонал он. – Никакого эффекта. Нужно принять алка-зельцер.

Тихонько прикрыв за собой раздвижную дверь, на веранду проскользнул Чарльз, одетый в красный полосатый халат.

– Знаешь, что тебе на самом деле нужно? “Поплавок” с мороженым.

– Ох, только твоих поплавок мне и не хватало.

– Говорю тебе, они действуют. С научной точки зрения. Холодное питье помогает от тошноты, а...

– Чарльз, я слышу твою теорию в сотый раз, но, по-моему, все это глупости.

– Да можешь ты хоть секунду послушать? Мороженое замедляет пищеварение. Кокакола прекращает позывы к рвоте, а от кофеина проходит головная боль. Сахар дает силы. И вдобавок ускоряет расщепление алкоголя. Это просто идеальное средство.

– А сделай-ка мне такую штуку, – заинтересованно подал голос Банни.

– Сам сделай, – с внезапным раздражением отрезал Чарльз.

– Нет, серьезно, – сказал Фрэнсис. – Мне просто нужен пакетик алка-зельцера.

Вскоре на веранду спустился Генри (он, в отличие от остальных, встал с рассветом и был одет прилично), а вслед за ним появилась сонная Камилла, влажная и покрасневшая после ванны. Ее золотая головка, вся в беспорядочных завитушках, напоминала растрепанную ветром хризантему. Дело шло к двум часам. Борзая дремала на боку, каштановый глаз был приоткрыт и потешно вращался в глазнице.

Алка-зельцера в доме все равно не нашлось, так что Фрэнсис принес бутылку имбирного пива, стаканы и лед, и какое-то время мы потихоньку приходили в себя. Солнце палило вовсю, становилось все жарче. Камилла, которая не любила сидеть на месте и вечно искала, чем бы себя занять – партией в карты, сборами на пикник, поездкой, чем угодно, – скучала, не скрывая своего недовольствия. У нее в руках была книга, но она так и не открыла ее; перебросив ноги через подлокотник плетеного кресла, она упрямо отбивала босой пяткой рваный ритм. Наконец, главным образом чтобы поднять ей настроение, Фрэнсис предложил прогуляться к озеру. Камилла мгновенно оживилась. Делать было нечего, и мы с Генри тоже решили пройтись. Чарльз и Банни уснули прямо в креслах и мерно посапывали.

Небо сияло яростной, обжигающей синевой, кроны деревьев полыхали раскаленными оттенками алого и золотого. Фрэнсис, отправившийся на прогулку босиком и в халате, осторожно перешагивал через камни и ветки, стараясь не расплескать пиво. Когда мы пришли на берег, он зашел в воду по колени и, воздев руки, как Иоанн Креститель, позвал нас к себе.

Мы сняли обувь и носки. Прозрачная бледно-зеленая вода прохладой ласкала лодыжки, на дне, покрытая сетью солнечных бликов, зыбилась галька. К Фрэнсису подошел Генри; он закатал брюки, но остался в пиджаке и галстуке – старомодный банкир с картины сюрреалиста. Ветерок прошелестел в березах, показав на мгновение бледную изнанку листьев. Юбка платья Камиллы надулась, словно белый воздушный шар. Засмеявшись, она быстро сбила подол, но ветер тут же надул его снова.

Камилла и я брели по мелководью, где вода едва доходила до щиколоток. Поверхность озера переливалась нестерпимо яркими солнечными бликами, словно это было и не озеро, а мираж в Сахаре. Генри и Фрэнсис ушли далеко вперед. Облаченный в белый халат Фрэнсис о чем-то говорил и бурно жестикулировал, а Генри, сложив руки за спиной, спокойно возвышался рядом – Сатана, терпеливо выслушивающий страстные прорицания безумного отшельника.

Пройдя изрядный путь вдоль берега, мы повернули назад. Прикрывая глаза ладонью, Камилла рассказывала мне какую-то долгую историю про борзую – кажется, собака сгрызла хозяйский коврик из овчины, близнецы попытались спрятать улику, а потом, отчаявшись, решили ее уничтожить, – но я едва следил за ходом повествования. Она была очень похожа на Чарльза, но правильные, мужские черты брата, повторенные с незначительными вариациями в сестре, приобрели что-то поистине магическое. Для меня Камилла была мечтой, ставшей явью. Один взгляд на нее пробуждал к жизни почти безграничный мир фантазий – от эллинизма до готики, от вульгарного до сакрального.

Завороженный мягкими модуляциями ее хрипловатого голоса, я искоса поглядывал на ее профиль, как вдруг резкий возглас вернул меня к действительности. Камилла остановилась.

– Что случилось?

Она опустила голову:

– Смотри!

От ее ступни поднимался темный фонтанчик крови. Я растерянно наблюдал, как над бледными пальцами, словно кольца кровавого дыма, кружатся тонкие алые нити.

– Боже, что с тобой?

– Не знаю. Наступила на что-то острое.

Она положила руку мне на плечо, и я обнял ее за талию. Из стопы, чуть выше свода, торчал длинный, зловеще поблескивающий осколок зеленого стекла. Кровь извергалась сильными ритмичными толчками – судя по всему, Камилла повредила артерию.

– Что там такое? – спросила она, пытаясь разглядеть ногу.

– Фрэнсис! – заорал я. – Генри!

Заметив рану, Фрэнсис ускорил шаг, подобрав повыше подол халата:

– Матерь Божья! Что ты с собой натворила? Идти-то хоть можешь? Дай-ка я посмотрю!

Камилла вцепилась мне в руку. Вся ее ступня была словно покрыта алой глазурью. Густые капли срывались в озеро и медленно расплывались, как тушь в чистой воде.

– Больно? – простонал Фрэнсис, закрывая глаза.

– Нет, – поспешно ответила она, но я-то знал, что ей жутко больно: она побледнела как полотно, и я чувствовал, как ее бьет дрожь.

Внезапно рядом оказался Генри и тоже склонился над ней.

– Обними меня за шею, – деловито сказал он, ловко подхватывая ее на руки как ребенка. – Фрэнсис, живо беги в машину за аптечкой. Встретимся на полпути.

– Хорошо! – с облегчением ответил Фрэнсис и торопливо зашлепал к берегу.

– Генри, отпусти меня. Ты же весь в крови.

Он сделал вид, что не слышит.

– Ну-ка, Ричард, – обратился он ко мне, – возьми вон тот носок и затяни его потуже вокруг лодыжки.

Только тут я вспомнил, что в таких случаях накладывают жгут, – отличный бы вышел из меня врач, нечего сказать.

– Не слишком туго?

– Нет, нормально. Генри, правда, хватит, я же тяжелая.

Он улыбнулся. На одном из его передних зубов я разглядел небольшую щербинку, которую прежде никогда не замечал; она придавала его улыбке странное обаяние.

– Ты легкая как перышко.

Порою, когда случается какая-нибудь беда, реальность становится слишком неожиданной и странной, непостижимой, и все тут же заполняет собой нереальное. Движения замедляются, кадр за кадром, словно во сне; один жест, одна фраза длятся вечность. Мелкие детали – сверчок на стебельке, прожилки листа – внезапно выходят на передний план, обретая болезненную четкость. Именно это и произошло тогда, пока мы добирались от озера домой. Пейзаж был похож на огромную картину, чьи неестественно насыщенные краски выдают ее рукотворное происхождение. Каждый камешек, каждая травинка были прорисованы с беспощадной скрупулезностью, при взгляде на небо от синевы ломило глаза. Камилла обмякла на руках у Генри – голова запрокинута, словно у утопленницы, изгиб шеи безжизнен и прекрасен. Подол ее платья беспечно трепетал на ветру. Брюки Генри были заляпаны пятнами величиной с четвертак, слишком красными для крови, – как будто кто-то стряхнул на него только что вынутую из краски кисть. В промежутках между звуками наших шагов я слышал только комариный звон крови в ушах.

Чарльз, босой, все еще в халате, кубарем скатился с холма. Фрэнсис спешил за ним по пятам. Опустившись на колени, Генри осторожно уложил Камиллу на траву. Она приподнялась на локтях.

– Камилла, ты умираешь? – выпалил Чарльз, падая на землю рядом с сестрой и с ужасом глядя на рану.

– Кому-то, – сказал Фрэнсис, разматывая бинт, – придется вытащить этот осколок.

– Может, я попробую? – спросил Чарльз, поднимая глаза.

– Только осторожно.

Взявшись за пятку, Чарльз ухватил осколок двумя пальцами и слегка потянул. Камилла судорожно втянула воздух.

Чарльз отпрянул как ошпаренный. Он было опять протянул руку, но тут же ее опустил. На кончиках пальцев у него блестела кровь.

– Ну, давай же, – сказала Камилла, совладав с собой.

– Не могу. Боюсь сделать тебе больно.

– Мне и так больно.

– Не могу, – выдавил Чарльз, жалобно глядя на нее.

– Отойди отсюда, – скомандовал Генри, быстро встав на колени и приподнимая раненую ногу.

Чарльз отвернулся. Он был бледен не меньше сестры, и я вспомнил старое поверье: когда один из близнецов ранен, другой тоже чувствует боль.

Глаза Камиллы распахнулись, она дернулась, но Генри уже держал в окровавленной руке изогнутый кусок стекла.

– *Consummatum est*⁴⁰.

⁴⁰ Свершилось (лат.).

Фрэнсис начал орудовать йодом и бинтами.

– Ничего себе, – сказал я, рассматривая на свет стекляшку в красных разводах.

– Вот и умница, – приговаривал Фрэнсис, старательно бинтуя ступню. Как многие ипохондрики, он умел разговаривать с больными успокаивающим тоном не хуже опытной сиделки. – Вы только посмотрите на нее. Она даже не плакала.

– Не так уж это было и больно.

– Черта с два! Просто ты очень храбрая девочка.

Генри поднялся с колен.

– Да, очень храбрая, – сказал он.

Ближе к вечеру мы с Чарльзом сидели на веранде. Внезапно похолодало; по-прежнему сияло солнце, но поднялся ветер. Мистер Хэтч недавно вошел в дом с охапкой дров, и в воздухе уже потянуло тонким и терпким запахом дыма. Фрэнсис, напевая, отправился готовить ужин; его звонкий, высокий, немного фальшивящий голос доносился до нас из окна кухни.

Рана Камиллы оказалась неопасной. Фрэнсис сразу же повез ее в травмпункт – Банни, раздосадованный тем, что проспал столь интересное событие, поехал с ними, – и они вернулись уже через час. Камилле наложили шесть швов, перебинтовали ногу и выдали пузырек тайленола с кодеином. Теперь Генри и Банни играли в крокет, а она наблюдала за игрой. Слегка опираясь на больную ногу, она прыгала вдоль края площадки на здоровой, что издавала впечатление разудалого танца.

Мы пили виски с содовой. Чарльз попытался научить меня играть в пикет (“Ведь в пикет играл Родон Кроули в “Ярмарке тщеславия”, помнишь?”), но я оказался никудышным учеником, и карты лежали без дела.

Чарльз отхлебнул виски. Он так и провел весь день в халате.

– Жаль, что завтра нам нужно возвращаться в Хэмпден, – сказал он.

– Жаль, что нам вообще нужно возвращаться, – отозвался я. – Вот было бы здорово здесь жить.

– Ну, в принципе это возможно.

– Что?

– Не сейчас, конечно. Потом. После колледжа.

– То есть?

– Видишь ли, – пожал плечами Чарльз, – тетушка Фрэнсиса ни за что не станет продавать дом на сторону. Она хочет оставить его в семье. Когда Фрэнсису исполнится двадцать один, он получит его за гроши. А если даже это будет не так дешево, у Генри денег столько, что он не знает, куда их девать. Они могут скинуться и купить дом вдвоем. Запросто.

Этот прагматичный ответ озадачил меня.

– Я что имею в виду, – пояснил Чарльз, – когда Генри закончит колледж – если, конечно, он его закончит, – ему понадобится местечко, где можно спокойно писать книги и изучать двенадцать великих цивилизаций.

– Как это, если он закончит?

– Да так. Надоест ему, и все. Он и раньше поговаривал, что бросит учебу. По большому счету в колледже ему делать нечего, а работу искать он точно никогда не станет.

– Ты думаешь? – с любопытством спросил я. Я всегда представлял себе Генри преподавателем греческого в каком-нибудь элитном колледже, затерянном на просторах Среднего Запада.

– Вот еще! – фыркнул Чарльз. – С какой стати? Деньги ему не нужны, а преподаватель из него ужасный. Фрэнсис – тот и подавно за всю жизнь палец о палец не ударил. Подозреваю, он мог бы жить с матерью, если б не ее новоиспеченный муженек. Нет, здесь ему будет лучше. К тому же и Джулиан тут рядом.

Сделав глоток, я пригляделся к далеким фигурам на площадке. Банни, не обращая внимания на закрывавшие глаза пряди волос, готовился ударить по шару, примеряясь молотком и раскачиваясь взад-вперед, как чемпион мира по гольфу.

– А у Джулиана есть родственники?

– Нет, – ответил Чарльз, обсасывая кубик льда. – Только какие-то племянники, но он их терпеть не может. Ну-ка, ну-ка, смотри, – оживился он, приподнимаясь в кресле.

Я проследил за его взглядом. Банни, стоявший на дальнем краю лужайки, наконец-то сделал удар. Шар прокатился мимо шестых и седьмых ворот, но каким-то чудом задел колышек.

– погоди, – сказал я. – Вот увидишь, он потребует еще удар.

– Не дождется, – сказал Чарльз, опускаясь в кресло, но все еще следя за игроками. – Генри сейчас вправит ему мозги.

Генри указывал на пропущенные ворота, и хотя слов было не разобрать, я был уверен, что он педантично цитирует правила. До нас долетели вопли оскорбленного Банни.

– Похмелье вроде прошло, – чуть погодя заметил Чарльз.

– У меня тоже, – ответил я.

Закат разливал золото по траве, вытягивал из деревьев длинные бархатистые тени. Омытые вечерним светом облака казались творением Констебля. Мне не хотелось в этом признаваться, но я снова был почти пьян.

Мы посидели в тишине, наблюдая за игрой. С площадки доносились приглушенные сухие удары молотков по шарам, на кухне под звон кастрюль и хлопанье шкафчиков Фрэнсис распевал, судя по исполнению, самую веселую песню на свете: “Мы овечки, заблудшие в дикой чащобе... Бе-е! Бе-е! Бе-е!”⁴¹

– А если Фрэнсис купит дом, – сказал я наконец, – думаешь, он пустит нас жить?

– Еще бы. С одним только Генри он спятит от скуки. Банни, наверно, придется работать в банке, но он сможет навещать нас по выходным, если оставит дома Марион и детишек.

Я рассмеялся. Накануне вечером Банни объявил, что хочет восьмерых детей, четырех мальчиков и четырех девочек. В ответ Генри разразился долгой тирадой, объясняя без тени иронии, что в природе завершение репродуктивного цикла неизбежно влечет за собой скорую дегенерацию и смерть.

– Ужасно, – сказал Чарльз. – Я просто вижу, как он стоит в садике перед домом, напивлив дурацкий фартук.

– Поджаривает гамбургеры, ага.

– А вокруг него с воплями носятся штук двадцать детишек.

– Пикники Киванис-клуба.

– Шезлонги *La-Z-Boy*.

– Не говори...

Ветер встряхнул кроны берез, и те щедро осыпали нас желтыми листьями. Я снова отхлебнул виски. Если б я даже вырос в этом доме, я и то не мог бы любить его сильнее; и скрип качелей, и узор выщегося по решетке ломоноса, и мягкие складки холмов с серой каймой у горизонта, и едва заметная за деревьями полоска шоссе – все это не могло бы быть более родным. Самые краски этого места вошли в мою кровь. Если Хэмпден впоследствии вспоминался мне смятенным вихрем белых, зеленых и красных мазков, то загородный дом появлялся перед мысленным взором роскошной акварелью – слоновая кость, ляпис-лазурь, каштан, охра, золото, – на которой лишь постепенно проступали знакомые контуры: стены, крыша, небо, клены. Увы, даже в тот вечер, когда я сидел на веранде с Чарльзом и вдыхал запах поднима-

⁴¹ Фрэнсис поет *Whiffenpoof song* – песню, традиционно завершающую выступления студенческого хорового ансамбля Йельского университета *Yale Whiffenpoofs*. Ее припев представляет собой немного измененные строки стихотворения Р. Киплинга “Джентльмен в драгунах”.

шегоса из труб дыма, мне не верилось, что это действительно происходит со мной; все было у меня перед глазами и все же казалось прекрасной иллюзией.

Темнело, подходило время ужина. Одним глотком я допил виски. Жить здесь и никогда не возвращаться в мир асфальта, торговых центров и сборной мебели, жить здесь с Чарльзом, Камиллой, Генри, Фрэнсисом, может быть, даже с Банни и быть уверенным, что никто из нас не обзаведется семьей, не уедет домой, не найдет работу в каком-нибудь городе за тысячи километров отсюда – одним словом, не запятнает себя ни одним из тех предательств, которые совершают друзья после колледжа; жить и знать, что все останется в точности таким же, как сейчас, – эта мечта была поистине божественной, и я не знаю, верил ли я даже в тот миг, что она может сбыться, но мне хотелось бы думать, что верил.

Фрэнсис набирал обороты для проникновенного финала: “Хор джентльменов в чаду кабаков... Проклят отныне во веки веков...”

Чарльз искоса взглянул на меня:

– Ну так что?

– В смысле?

– Я имею в виду, какие планы? – спросил он с улыбкой. – Что будешь делать в ближайшие лет сорок-пятьдесят?

На лужайке в этот момент Банни выбил шар Генри метров на двадцать за край площадки. Полыхнул взрыв смеха. Негромкий, но отчетливый, он долетел к нам слабым эхом в вечернем воздухе. Этот смех преследует меня до сих пор.

Глава 3

С первого же дня, как я оказался в Хэмпдене, я начал со страхом думать о конце семестра, который означал для меня возвращение в Плано, к автозаправкам на выжженной пыльной равнине. По мере того как семестр подходил к концу, а снега наметало все больше, утренние часы становились все темнее и дата на заляпанной ксерокопии (17 декабря – последний срок сдачи всех работ), приклеенной к дверце шкафа, все ближе, моя меланхолия перерастала в смятение. Мне казалось, я не вынесу очередного Рождества с семьей: ни малейшего намека на снег, пластмассовая елка и не смолкающий ни на минуту телевизор. Да и сами родители не то чтобы жаждали меня видеть. В последние годы они подружились с бездетной и патологически болтливой пожилой четой по фамилии Макнэтт. Мистер Макнэтт торговал автозапчастями, миссис Макнэтт, похожая на жирного голубя, продавала косметику “Эйвон”. Под их влиянием родители пристрастились к поездкам по дешевым фабричным магазинчикам, начали играть в кости и просиживать вечера напролет в баре “Рамада-инн”, где играл тапер. С наступлением праздников все это поглощало их почти целиком, и хотя мое присутствие было недолгим и редким, они видели в нем лишь досадную помеху и даже что-то вроде молчаливого упрека.

Впрочем, праздниками проблема не ограничивалась. Поскольку Хэмпден находился так далеко на севере, а отопление старых зданий требовало немалых затрат, на январь и февраль колледж закрывали. Я уже просто слышал, как, пропустив пару-тройку бутылок пива, мой отец жалуется на меня мистеру Макнэтту, а тот, в свою очередь, подначивает его намеками на то, что я испорчен и что он-то уж точно, будь у него сын, не позволил бы ему садиться себе на шею. Это приведет отца в бешенство, и в конце концов он с трагическим видом вломится ко мне в комнату и, закатив глаза, как Отелло, выставит меня вон, указуя дрожащим перстом на дверь. Когда я учился в старших классах и в прежнем колледже, он проделывал это много раз без всякой причины, просто чтобы продемонстрировать матери и работникам заправки свой авторитет. Как только ему надоедало всеобщее внимание и матери дозволялось “немного его образумить”, меня всегда звали обратно. Но что будет на этот раз? У меня даже больше не было комнаты: в октябре мать сообщила в письме, что продала всю мебель и превратила мою спальню в свою “швейную мастерскую”.

Генри и Банни улетали на все каникулы в Италию, в Рим. Эта новость, объявленная Банни в начале декабря, меня удивила, тем более что уже около месяца в их отношениях сквозила некоторая напряженность. Я объяснял ее растущим недовольством Генри – в последнее время Банни постоянно тянул из него деньги, Генри же, хотя и сетовал по этому поводу, почему-то никогда ему не отказывал. Я был почти уверен, что дело не в самих деньгах, а в принципе. Не сомневался я и в том, что сам Банни даже не подозревал, что между ними что-то не так.

Предстоящая поездка целиком завладела помыслами Банни. Он купил кучу одежды, целую стопку путеводителей, аудиокурс *Parliamo Italiano*⁴², обещавший научить слушателей итальянскому менее чем за две недели (“Даже тех, кому никогда не везло с другими языками!” – заверяла реклама на обложке), и экземпляр “Ада” Данте в переводе Дороти Сэйерс. Он знал, что мне некуда податься на каникулы, и с наслаждением сыпал мне соль на раны. “Я буду вспоминать о тебе, попивая кампари и катаясь в гондолах”, – подмигнув, пообещал он. Генри о поездке не распространялся. Пока Банни трещал без умолку, он сидел и, глубоко, сосредоточенно затягиваясь, курил, делая при этом вид, что не понимает ни слова из той галиматии, которую Банни пытался выдать за итальянский.

Фрэнсис сказал, что будет только рад пригласить меня на Рождество в Бостон, а потом отправиться со мной в Нью-Йорк. Близнецы позвонили бабушке в Виргинию, и та сказала, что

⁴² Говорим по-итальянски (ит.).

тоже будет рада принять меня на все каникулы. Однако оставался еще один вопрос – на эти два месяца мне была необходима работа. Если я хотел продолжить учебу в следующем семестре, мне нужны были деньги, которые мне вряд ли удалось бы заработать, шляясь с Фрэнсисом по Нью-Йорку. Дядя близнецов был юристом, и, как обычно во время каникул, они собирались побыть у него клерками, но им и так каждый раз приходилось ломать голову над тем, как растянуть эту работу на двоих: Чарльз возил дядюшку Ормана по магазинам и случайным распродажам имущества, а Камилла должна была сидеть в офисе у телефона, по которому никто никогда не звонил. У них наверняка не возникало и мысли, что мне тоже может понадобиться заработок, – с рассказами о калифорнийской *richesse*⁴³ я явно перестарался. “А что я буду делать, пока вы на работе?” – спросил я, надеясь, что они уловят мой намек, но он конечно же от них ускользнул. “Боюсь, что делать там особенно и нечего, – извиняющимся тоном ответил Чарльз. – Ну, читать, болтать с бабушкой, играть с собаками”.

Похоже, единственное, что мне оставалось, – это Хэмпден. Доктор Роланд был не против взять меня на зиму, но предложенной им зарплаты не хватало даже на мало-мальски приличное жилье. Чарльз и Камилла уже сдали квартиру кому-то еще, а к Фрэнсису на это время переезжал кузен-тинейджер. Квартира Генри, насколько я знал, оставалась свободной, но сам он не предложил ею воспользоваться, а попросить мне не позволяла гордость. Пустовал и загородный дом, но он был в часе езды от города, а машины у меня не было. Наконец я узнал об одном бывшем хэмпденском студенте – старом хиппи, устроившем музыкальную мастерскую в здании заброшенного склада. Он разрешал бесплатно там пожить, если ты согласен время от времени помогать вытачивать колки или шлифовать мандолины.

Я не хотел обременять себя ничьим состраданием или презрением и отчасти поэтому скрыл от всех истинные обстоятельства своей зимовки. Не встретив тепла и понимания у никчемных гламурных родителей, я решил остаться в Хэмпдене (по неопределенному адресу) и уйти с головой в греческий, с гордостью отвергнув малодушно предложенную ими денежную помощь.

Такой стоицизм, такое стремление всецело посвятить себя занятиям и пренебрежение к мирским соблазнам, которое сделало бы честь даже Генри, вызвало восхищение у всех, в том числе у него самого. “Я и сам был бы не прочь провести здесь эту зиму, – сказал он, когда промозглым вечером в конце ноября мы возвращались по щиколотку в размокшей листве от Чарльза с Камиллой. – Колледж закрыт, после трех часов дня в городе не работает ни один магазин. Все вокруг пусто и белым-бело, никаких звуков – только шум ветра. В старину снега наметало по самые крыши, люди сидели запертые в своих домах, как в клетках, и умирали голодной смертью. Их находили только весной”. Голос его звучал ровно, убаюкивающе, однако меня охватило беспокойство – там, где я жил раньше, зимой и снега-то не было.

В последнюю неделю семестра все только и делали, что паковали вещи, что-то печатали, бронировали билеты и звонили домой родителям, – все, кроме меня. Мне не нужно было спешить, чтобы пораньше сдать задания, ведь я никуда не уезжал, а начать собираться в свое удовольствие я мог и после того, как в общежитиях никого не останется. Первым покидал колледж Банни. Три недели до этого он провел в панике, бегая с заданием по последнему из своих четырех предметов. Это были какие-то “Шедевры английской литературы”, и Банни предстояло написать двадцать пять страниц о Джоне Донне. Нам всем было очень любопытно, как он с этим справится, поскольку, мягко говоря, Банни не обладал особым писательским даром. По его словам, во всем была виновата дислексия, но на самом деле подлинная проблема заключалась в его совершенно детской неспособности на чем-либо сосредоточиться. Он почти не притрагивался ни к обязательным текстам, ни к дополнительной литературе. Его познания в любой области, как правило, представляли собой мешанину искаженных, зачастую вовсе не

⁴³ Роскошь (фр.).

относящихся к теме или выбивающихся из контекста фактов, которые были почерпнуты им из обсуждений на занятиях или, как он свято верил, где-то вычитаны. Когда нужно было садиться за работу, он дополнял эти сомнительные обрывки тем, что ему удавалось выудить при допросе Генри (к которому он давно привык обращаться, как к ходячему словарю), а также сведениями из двух других неизбежных источников: “Всемирной книжной энциклопедии” и издания под названием “Мыслители и творцы” – составленного в конце прошлого века преподобным Э. Типтоном Четсфордом шеститомника, который предназначался для детей и содержал краткие, снабженные монументальными гравюрами очерки жизни замечательных людей разных эпох.

Под затуманенным исследовательским взглядом Банни эта и без того необычная подборка материала претерпевала дальнейшие метаморфозы. Как следствие, все до единого его творения оказывались настолько оригинальными, что с неизменным успехом повергали читателя в смятение. И все же работа по Джону Донну была худшей из всех никудышных работ Банни. (По иронии судьбы она же оказалась и единственной опубликованной. После его исчезновения какой-то журналист попросил небольшую выдержку из трудов пропавшего молодого ученого, и Марион дала ему ксерокопию. Один тщательно отредактированный абзац оттуда в итоге появился в журнале *People*.)

Банни где-то прослышал, что Джон Донн был дружен с Исааком Уолтоном⁴⁴, и в каком-то тусклом закоулке его мозга это знакомство постепенно разрослось до того, что Банни уже практически не видел никакой разницы между двумя почтенными мужами. Мы так и не поняли, как возникла эта роковая связь. Генри возлагал вину на “Мыслителей и творцов”, но выяснить это наверняка уже не представлялось возможным. За неделю-другую до срока сдачи Банни начал регулярно наведываться ко мне. Часа в два-три ночи он возникал на пороге моей комнаты со съехавшим набок галстуком и выпученными глазами, так что можно было подумать, будто пять минут назад он едва не стал жертвой какого-то страшного катаклизма.

– Привет-привет, – бормотал он, входя и запуская обе пятерни в растрепанную шевелюру. – Надеюсь, не разбудил. Ничего, если я включу свет, а? Мм, о чем я? А ну да, ну да...

Включив свет, он несколько минут расхаживал со сложенными за спиной руками и лишь покачивал головой. Наконец замирал как вкопанный и с отчаянием в глазах выдавал:

– Метагемерализм. Расскажи мне об этом. Все, что можешь. Мне нужно хоть что-нибудь узнать о метагемерализме.

– Извини, я даже не знаю, что это такое.

– Я тоже, – обреченно вздыхал Банни. – Кажется, что-то связанное с пасторальным искусством. Так я смогу связать Донна с Уолтоном, понимаешь?

И вновь начинал кружить по комнате.

– Донн. Уолтон. Метагемерализм. Вот где собака зарыта.

– Банни, мне кажется, такого слова вообще нет.

– Есть-есть. Происходит из латыни. Каким-то там боком связано с иронией и пасторалью. Я просто уверен. Картины, скульптуры, все в таком духе, скорее всего.

– Оно хотя бы есть в словаре?

– Черт его знает. Даже не знаю, как оно толком пишется. Я вот о чем, – складывал он рамку из пальцев, – поэт и рыболов. *Parfait*⁴⁵. Добрейшие друзья. Живут привольной жизнью на просторе. А связкой тут должен быть метагемерализм, понимаешь?

⁴⁴ Исаак Уолтон (1593–1683) – английский писатель, автор популярного по сей день “Полного руководства по ужению рыбы” (1653).

⁴⁵ Отлично (фр.).

И так продолжалось полчаса, а то и больше, – Банни нес вдохновенный бред о рыбалке, сонетах и бог знает еще о чем, пока в середине монолога его не осеняла очередная гениальная мысль. Тогда он исчезал так же внезапно, как и появлялся.

Он дописал работу за четыре дня до сдачи и гордо расхаживал по кампусу, показывая ее всем подряд.

– Неплохо получилось, Бан, – осторожно заметил Чарльз.

– Спасибо, польщен.

– Но тебе не кажется, что стоило почаще упоминать Джона Донна? Тема ведь касалась его, нет?

– А, Донн... – отвечал Банни с усмешкой. – Честно говоря, не хотелось его во все это впутывать.

Генри читать работу не стал.

– Уверен, это выше моего понимания, – я серьезно, Банни, – сказал он, пробежав взглядом первую страницу. – Слушай, что у тебя с машинкой?

– Печатал через три интервала, – гордо ответил Банни.

– Строчки чуть ли не в трех сантиметрах друг от друга.

– Похоже, типа, на белый стих, правда?

Генри презрительно хмыкнул:

– Скорее, типа, на меню.

Единственное, что мне оттуда запомнилось, – это последнее предложение: “И оставляя Уолтона и Донна на берегах метагемерализма, мы шлем прощальный привет двум знаменитым корешам былых времен”. Мы подозревали, что работу не примут, но Банни на этот счет совершенно не волновался: он был весь в предвкушении поездки в Италию – близкой настолько, что по ночам над его кроватью уже нависала тень Пизанской башни, – и думал лишь о том, как бы поскорее вырваться из Хэмпдена, разделаться с семейными праздниками и наконец-то прыгнуть в самолет.

Без особых церемоний он спросил, не помогу ли я ему собраться, раз уж мне все равно нечего делать. Я пообещал помочь. Когда я зашел к нему, Банни стоял посреди неимоверного бардака и без разбора вываливал содержимое ящиков в чемоданы. Я осторожно снял со стены японскую гравюру в рамке и положил ее на стол. “Не трожь! – заорал он и, с грохотом уронив очередной ящик, метнулся к картинке. – Этой штуке две сотни лет!” Сказать по правде, я знал, что эта штука намного моложе, поскольку пару недель назад случайно заметил, как он кропотливо вырезал ее из книги в библиотеке. Я промолчал, но выходка настолько меня разозлила, что я тут же ушел, не дослушав его неуклюжих полуизвинений. Позже, после его отъезда, я обнаружил в почтовом ящике вымученную примирительную записку, в которую были завернуты дешевый томик стихов Руперта Брука⁴⁶ и упаковка мятных леденцов.

Генри покинул Хэмпден тихо и быстро. Вечером он сказал нам, что уезжает, а на следующий день его уже и след простыл. Отправился ли он в Сент-Луис или же напрямик в Италию – никто из нас не знал. Через два дня уехал и Фрэнсис, и провожали мы его так, словно расставались на три года: добрые сорок пять минут Чарльз, Камилла и я стояли, потирая замерзшие носы и уши, перед заведенным “мустангом”, утопавшим в белых клубах выхлопа, пока Фрэнсис, опустив боковое стекло, выкрикивал нам прощальные напутствия.

Близнецы уезжали последними, и, видимо, отчасти поэтому думать об их отъезде мне было особенно тяжело. Когда гудки Фрэнсиса смолкли в безмолвной заснеженной дали, мы вышли на лесную тропинку и добрались до их дома, едва перебросившись парой слов. Чарльз включил свет, и я увидел душераздирающе прибранную квартиру: пустая раковина, натертые полы и выставленные у двери чемоданы.

⁴⁶ *Руперт Брук* (1887–1915) – английский поэт, известный романтическими стихами на военно-патриотическую тему.

В тот день столовая и кафетерии были закрыты уже с полудня. Шел сильный снег, быстро темнело, в чисто вымытом, пахнущем лизолом холодильнике не осталось ни крошки. Усевшись за кухонный стол, мы разделили импровизированный ужин: консервированный грибной суп, крекеры и пустой чай – у нас не было ни молока, ни сахара. Главной темой разговора была предстоящая поездка близнецов: как они управятся с багажом, на какое время следует заказать такси, чтобы им успеть на поезд, отходящий в половине седьмого утра, и все в таком духе. Я включился в их разговор, но меня уже начало охватывать то глубокое уныние, в котором мне было суждено провести еще много недель. Затихающий шум “мустанга”, постепенно сходящий на нет в онемевшем белом пространстве, до сих пор звучал у меня в голове, и тут я внезапно осознал, какими одинокими будут следующие два месяца – колледж закрыт, все укутано снегом, вокруг ни души.

Они сказали, чтобы я не приходил их провожать, ведь они уезжают очень рано, но все равно уже в пять утра я оказался у них, чтобы попрощаться еще раз. Утро было безоблачным, черное небо усеяно звездами, столбик термометра на портике Общин упал до минус двадцати. Перед домом стояло готовое к отъезду такси. Шофер как раз захлопнул крышку наби того доверху багажника, а Чарльз и Камилла запирали дверь подъезда.

Они были слишком озабочены и взволнованны, чтобы обрадоваться моему появлению. Близнецы плохо переносили путешествия: их родители погибли в автокатастрофе, и они начинали нервничать задолго до того, как им предстояло куда-нибудь ехать.

Вдобавок они опаздывали. Чарльз опустил чемодан на землю и пожал мне руку.

– Счастливого Рождества, Ричард. Ты ведь, надеюсь, будешь нам писать? – сказал он и потрусил к машине. Камилла, попытавшись справиться с двумя огромными саквояжами, в конце концов уронила их в снег:

– Черт побери, мы просто не затащим все это барахло в вагон!

На ее бархатных щеках пылал румянец. В ту минуту она была красива, как никто и никогда в моей жизни. Чувствуя, как кровь стучит в висках, я стоял и таращился на нее как идиот. Мои тщательно разработанные планы прощального поцелуя были уже напрочь забыты, как вдруг она подлетела и обвила меня руками. Шумное дыхание почти оглушило меня, и тут же ее щека обожгла меня льдом. Я схватил затянутую в перчатку руку и почувствовал, как на ее тонком запястье бьется частый пульс.

Такси просигналило, из окна высунулся Чарльз:

– Ну что вы там?!

Я помог донести саквояжи и, когда машина тронулась, встал в круг света под фонарем. Повернувшись на заднем сиденье, близнецы махали мне, а я смотрел им вслед, пока такси не повернуло за угол и они не исчезли вместе с искаженным призраком моего отражения, пляшущим на выпуклом темном стекле.

Я стоял посреди опустевшей улицы, пока не стало слышно ничего, кроме посвиста поземки. Тогда, засунув руки глубже в карманы, я повернул обратно к кампусу, и скрип снега под ногами показался мне невыносимо громким. Общежития стояли темными немymi глыбами. Большая стоянка за теннисным кортом выглядела совсем пустой: лишь пара-тройка преподавательских машин и зеленый пикап техслужбы. В моем корпусе повсюду валялись вешалки и коробки из-под обуви, двери остались открытыми настежь, было тихо и мрачно, как в склепе. Никогда еще мне не было так плохо и тоскливо. Я опустил шторы, лег в кровать и провалился в сон.

У меня было так мало вещей, что все можно было унести за один раз. Проснувшись около полудня, я упаковал оба чемодана и, сдав ключ охране, потащился по пустынному заснеженному шоссе в город, по адресу, который хиппи продиктовал мне по телефону.

Идти нужно было дальше, чем я предполагал, и вскоре мне пришлось свернуть с шоссе и углубиться в совершенно дикую местность у подножия Маунт-Катаракт. Дорога шла по берегу Бэттенкила – быстрой и мелкой, часто пересекаемой мостами речушки. Домов было очень мало, и даже угрюмые, внушавшие ужас коробки трейлеров в обрамлении огромных полениц и черных столбов дыма, обычные для вермонтской глуши, попадались лишь изредка. Машин не было вовсе, если не считать одного ископаемого средства передвижения, покоившегося перед чьим-то крыльцом на сложенных столбиками кирпичках.

Летом подобное утомительное путешествие, вероятно, еще могло бы доставить некоторое удовольствие, но сейчас, в декабре, утопая в снегу с двумя тяжеленными чемоданами, я стал сомневаться, дойду ли вообще. Руки и ноги окоченели от холода, мне то и дело приходилось останавливаться и отдыхать, однако мало-помалу местность стала принимать все более обитаемый вид, и наконец, как и предполагалось, я вышел на Проспект-стрит – одну из улиц в Восточном Хэмпдене.

Эта часть города была мне совершенно незнакома. Она ни капли не походила на тот Хэмпден, который я знал, с кленами и дощатыми фасадами магазинчиков, мирной, деревенской зеленью и часами на здании суда. Это был разбомбленный лабиринт водонапорных башен, ржавых рельсов, покосившихся складов и фабрик с заколоченными дверьми и разбитыми окнами. Все выглядело так, будто простояло заброшенным со времен Великой депрессии, – все, за исключением невзрачного маленького бара на углу, где, судя по тесной кучке припаркованных у входа пикапов, недостатка в посетителях не было даже в середине дня. С неоновых реклам пива свисали огоньки гирлянд и пластиковые венки остролиста. За стеклом витрины я увидел мужиков во фланелевых рубашках, сидевших рядом за стойкой со стаканами пива и стопками. В глубине бара у бильярдного стола сгрудился народ помладше, все больше дородные молодцы в бейсболках. Я подошел к обитой красным винилитом двери и заглянул внутрь сквозь дверное окошко. Может, зайти и спросить дорогу, немного выпить, согреться? Почему бы нет, подумал я, и уже было взялся за засаленную медную ручку, как вдруг заметил название бара, выведенное на витрине, – “Баулдер Тэп”. Судя по сообщениям в местных новостях, “Баулдер Тэп” был центром тех немногих преступлений, которые совершались в Хэмпдене: поножовщина, изнасилования, все без единого свидетеля. Пожалуй, это было не совсем то место, куда заблудившийся студент мог заглянуть без опаски.

Впрочем, отыскать обиталище хиппи в итоге оказалось не так уж трудно – один склад, стоявший прямо у реки, был выкрашен в ядовитый сиреневый цвет.

Хиппи, когда он наконец открыл дверь, выглядел очень недовольным, как будто я его разбудил. “Слушай, в следующий раз просто возьми и толкни дверь”, – буркнул он вместо приветствия. Это был низенький рыжебородый толстяк в покрытой пятнами пота футболке, и по его виду можно было предположить, что он провел немало чудных вечеров в компании приятелей у бильярдного стола в “Баулдер Тэп”. Он показал мне мое будущее жилище – комнату, к которой вела железная (и конечно же без перил) лестница, – и молча исчез.

Я оказался в пыльном, похожем на пещеру помещении с дощатым полом и высоким потолком с обнаженными балками. Кроме раздолбанного комода и примостившегося в углу барного стула здесь не было никакой мебели, зато стояли газонокосилка, проржавевшая бочка и козлы, на которых валялись ошметки наждачки, столярные инструменты и изогнутые куски древесины – возможно, панцири тех самых мандолин. Пол был усыпан опилками, гвоздями и окурками вперемешку с промасленными обертками и номерами “Плейбоя” семидесятых годов; квадратики стекол в решетке рамы покрывала пушистая смесь изморози и грязи.

Разжав окоченевшие пальцы, я выронил на пол один, затем второй чемодан. Мозг мой словно бы тоже окоченел и с какой-то странной легкостью лишь фиксировал впечатления, не подвергая их оценке. Внезапно до меня донесся жуткий рев и плеск. Обойдя козлы, я посмотрел через заднее окно наружу и остолбенел, увидев в метре под собой бурлящий поток воды.

Было видно, как чуть дальше по течению он обрывается вниз с плотины и над самым краем висит облако взвеси. Попытавшись протереть кружок на стекле, чтобы разглядеть получше, я заметил, что здесь, в помещении, у меня изо рта идет пар.

Вдруг я ощутил что-то очень похожее на ледяной душ. Я поднял голову – в потолке зияла внушительная дыра. Я увидел кусочек голубого неба и облако, быстро проплывающее между черными зубренными краями. На полу, удивительно точно повторяя очертания дыры, красовалась россыпь снежной пудры, девственную поверхность которой нарушал одинокий четкий след – мой собственный.

Потом меня часто спрашивали, понимал ли я, что поселиться в неотапливаемом доме на севере Вермонта в середине зимы почти равносильно самоубийству? Сказать по правде – нет, не понимал. Где-то на задворках моего сознания, конечно, всплывали некогда слышанные истории о замерзших насмерть людях – пьяницах, стариках, неосторожных лыжниках, – но я никак не думал, что все эти ужасы могут иметь отношение ко мне. Да, мое жилище было неуютным, там было грязно, как в хлеву, и холодно, как в погребке, но мне и в голову не приходило, что я подвергаю опасности свою жизнь. В конце концов, хиппи жил в том же здании, а в моей комнате, как сообщила секретарша студенческой справочной, раньше жили другие студенты. Правда, мне не сообщили, что та часть склада, где жил хиппи, как следует отапливалась, а студенты, понимая, что их ждет, заблаговременно вооружались обогревателями и электрическими одеялами. Кроме того, дыра в потолке была новейшим усовершенствованием дизайна, не внесенным в базу данных справочной. Я уверен, что любой нормальный человек, узнав об условиях моей зимовки, не пожалел бы сил, чтобы отговорить меня от этого предприятия, но в том-то и дело, что всех этих подробностей не знал никто. Я так стыдился нового жилья, что не стал рассказывать о нем никому, даже доктору Роланду. Только хиппи был полностью в курсе дела, но он стоял выше треволнений этого мира, за исключением, конечно, забот о собственной персоне.

Рано утром, еще затемно, я просыпался на полу среди вороха одеял (я спал в двух или трех свитерах, теплом нижнем белье, шерстяных брюках и пальто) и в чем был отправлялся на работу. Дорога отнимала немало времени, а если шел снег или дул сильный ветер, то и последние силы. Замерзший и измученный, я обычно подходил к Общинам ровно к тому моменту, когда сторож открывал двери, и сразу же спускался в подвал, чтобы побриться и принять душ. В годы Второй мировой, когда в Общинах временно размещался госпиталь, это несколько зловещее помещение – белый кафель, сплетения труб, сточная воронка в центре пола – служило инфекционным изолятором, сейчас же оно стояло почти заброшенным. К счастью, уборщицы наполняли в подвале ведра, и поэтому воду не отключали, там даже стоял исправный водогрей; в глубине одного из застекленных шкафчиков у меня хранился незаметный сверток с мылом, бритвой и полотенцем. Потом я поднимался наверх и завтракал консервированным супом с чашкой растворимого кофе. Когда появлялись секретарши и доктор Роланд, я был уже по уши в работе.

Столь внезапный приступ усердия несказанно удивил и даже несколько насторожил шефа, уже давно привыкшего к моим постоянным прогулам, опозданиям и не выполненным в срок поручениям. Он начал расточать похвалы моему трудолюбию, подробно расспрашивать о проделанной за день работе, а несколько раз я даже слышал, как он обсуждает произошедшую со мной перемену с доктором Кабрини – главой факультета психологии и единственным коллегой доктора Роланда, оставшимся в Хэмпдене на зиму. Несомненно, сначала он решил, что за всем этим кроется какой-нибудь новый подвох. Но время шло, и каждый день самоотверженной работы прибавлял к моему послужному списку очередную золотую звездочку. Наконец он поверил, сначала робко, затем – с радостным торжеством. В начале февраля он даже повысил мне зарплату. Может быть, как истинный приверженец бихевиоризма доктор Роланд

надеялся, что прибавка подвигнет меня на еще большие достижения. Однако ему пришлось горько пожалеть об этом опрометчивом поступке, когда с началом весеннего семестра я вернулся в свою уютную комнатку в Монмуте и как ни в чем не бывало взялся за старое.

Я сидел в кабинете доктора Роланда до упора, а затем шел ужинать в кафетерий. В иные благословенные вечера после ужина можно было провести еще некоторое время в тепле. Как тщательно изучал я доски объявлений, высматривая собрания “Анонимных алкоголиков” и выступления старшеклассников местной школы с каким-нибудь старым мюзиклом! Увы, такая удача выпадала редко. Как правило, в семь Общины закрывали, и мне не оставалось ничего другого, как тащиться домой сквозь темень и снег.

Я не могу передать, какой дикий холод стоял на складе, – ни до, ни после той зимы мне не приходилось испытывать ничего подобного. Наверное, будь у меня хоть капля соображения, я бы тут же побежал покупать обогреватель, но всего четыре месяца назад я покинул один из самых теплых в Америке штатов и лишь слабо подозревал о существовании подобных приспособлений. Я считал, что мои еженощные мучения – чуть ли не норма для жителей Вермонта зимой. Холод, от которого ломило кости и болели суставы, свирепый холод, беспощадно вторгавшийся в мои сны – плавучие льды, пропавшие экспедиции, прожектора поисковых самолетов, скользящие по белым вершинам айсбергов, и я – в одиноком дрейфе по беспросветным арктическим морям. По утрам я просыпался с ощущением, будто меня избили. Сначала я думал, это оттого, что я сплю на полу, и только потом понял, что истинной причиной была жестокая, непрекращающаяся дрожь – всю ночь напролет мои мышцы сокращались, как у подопытной зверушки с вживленными в мозг электродами.

Удивительно, но хиппи (кстати, его звали Лео) очень не нравилось, что я почти не занимался выточкой распорок, формовкой обечаек и прочими хитроумными манипуляциями. “Слушай, ты просто пользуешься моей добротой, – говорил он всякий раз, заметив меня. – Еще никто так не кидал Лео. Никто”. Почему-то ему втемяшилось в голову, что я обучался изготовлению инструментов и мог выполнять самую квалифицированную работу, хотя я конечно же не говорил ему ничего подобного. “Говорил-говорил, – ответил он на мои клятвенные заверения в обратном. – Что я, не помню, что ли? Ты сам сказал, что целое лето жил в Голубых горах и делал там цимбалы. В Кентукки. А то нет?”

Мне нечего было на это ответить. Я привык изворачиваться, сталкиваясь с последствиями собственного вранья, но чужая неприкрытая ложь, как правило, повергает меня в абсолютную растерянность. Я робко воззвал к правде, пробормотав, что никогда не был в Голубых горах и даже не знаю, как выглядят цимбалы. “Тогда иди точи колки, – нахально заявил он. – Или хотя бы пол подмети”. Тут я попытался возмутиться и возразил, что не могу вытачивать колки в помещении, где из-за холода даже не снять перчаток. “Ну и что? Отрежь у них кончики пальцев”, – ничуть не смутившись, посоветовал Лео. Такими вот случайными столкновениями перед дверью склада наше общение, собственно говоря, и ограничивалось. Скоро мне стало ясно, что Лео, несмотря на свою прославленную любовь к мандолинам, не переступал порог мастерской уже, наверное, лет сто. Я начал подозревать, что он даже не знает о дыре в крыше, и однажды набрался смелости и упомянул ее в разговоре. “Во-во, я как раз думал, ты ее и заделаешь, а то от тебя вообще никакой пользы”, – сказал хиппи. То, что я послушался и однажды в воскресенье действительно попытался заделать дыру с помощью первых попавшихся частей будущих мандолин, можно объяснить лишь крайней степенью моей деморализации. Эта попытка едва не стоила мне жизни: крыша оказалась предательски крутой, я потерял равновесие и чуть было не свалился в запруду, однако в последний момент ухватился за водосточный желоб, к счастью выдержавший мой вес. Мне удалось спастись (правда, потом пришлось сделать противостолбнячную прививку, потому что руки были в порезах от ржавой жести), но хипповские деревяшки вместе с молотком и пилой угодили в воду. Инструменты пошли ко дну, и Лео, наверное, до сих пор не заметил их пропажи, а вот деревянные, есте-

ственно, всплыли, и их маленькую флотилию пригнало течением прямо под окна его спальни. Само собой, у хиппи нашлось что сказать об этом явлении, а также о сопливых студентах, которым наплевать на чужое добро, и о том, как всю дорогу каждый, кому не лень, пытается обобрать его до нитки.

Незаметно промелькнуло Рождество. Примечательным в нем было лишь то, что решительно все оказалось закрыто и мне некуда было пойти погреться, не считая церкви, где я провел пару часов. После службы я вернулся на склад, завернулся в одеяло и, не зная, как спастись от холода, принялся раскачиваться, вспоминая все солнечные рождественские праздники детства – с апельсинами, велосипедами, разноцветными обручами и зеленой мишурой, весело шуршащей под ветерком вентилятора.

Время от времени на кампус приходила почта. Фрэнсис в письме на шести страницах распилился о своем плохом настроении и слабом здоровье и подробно описывал практически все блюда, которые ему довелось отведать на каникулах. Близнецы, вот кому спасибо, присылали коробки с бабушкиным печеньем и письма, написанные разными чернилами: черными писал Чарльз, красными – Камилла. Числа десятого января я получил открытку из Рима, без обратного адреса. Это была фотография статуи императора Августа из Прима-Порты. Под ней Банни на удивление здорово изобразил себя и Генри: маленькие фигурки в римских тогах и круглых очочках с любопытством косились в направлении, указываемом простертой рукой статуи. (Император Август был кумиром Банни. Нам было ужасно неловко, когда на рождественском вечере филологического факультета, во время чтения второй главы Евангелия от Луки он издал радостный вопль, услышав его имя. “Не, а че такого? – возмутился он, когда мы его одернули. – Надо ж было провести всеобщую перепись, не так, что ли?”)

Эта открытка хранится у меня до сих пор. Что характерно, написана она карандашом; текст немного смазан, но еще вполне читаем. Подписи нет, но ошибиться в авторстве невозможно:

Ричард Старик

как ты там – мерзнешь? здесь очень даже тепло. Мы живем в Пенсоне (орф.) Я заказал по ошибке Устриц вчера в ресторане это было что-то жуткое но Генри взял и все съел. Еще здесь все чертовы католики. Arrivederci, до скорого.

Фрэнсис и близнецы задавали, и не раз, вопросы о моем новом адресе. “Где ты сейчас живешь?” – черным цветом спрашивал Чарльз. “Правда, где?” – вторила Камилла красным. (Она писала чернилами особого, рыжеватого оттенка, при виде которого в моем сознании звучал вживую ее нежный, с хрипотцой голос, лишь обостряя мою тоску по ней.) Я не мог дать им обратный адрес и поэтому оставлял их вопросы без ответа, наполняя письма пространными рассуждениями о снеге, красоте, одиночестве и тому подобном. Я часто думал, какой странной должна была казаться моя жизнь далеким адресатам моих бесстрастных посланий. Они повествовали о каком-то безликом существовании, описывали жизнь во всех ее проявлениях, но без малейших подробностей, постоянно испытывали терпение читателя размытыми, туманными пассажами. Изменив несколько дат и реалий, их легко можно было бы выдать за письма Гаутамы.

Я писал эти письма по утрам в кабинете, в библиотеке, в коридорах Общин, где по вечерам оставался до тех пор, пока уборщицы не объявляли мне, что здание закрывается. Вся моя жизнь укладывалась в те разрозненные отрезки времени, которые удавалось провести в общественных местах. Мне казалось, что я брожу по вокзалу, а моего поезда все нет и нет. И словно один из тех призраков, которые поздней ночью спрашивают у пассажиров, когда отправляется полуночный экспресс, потерпевший крушение лет двадцать назад, я переходил из одного зала ожидания в другой, пока не наступал тот жуткий миг, когда закрывалась последняя дверь. Я

покидал уютный мир чужих людей и подслушанных за день разговоров и оказывался на улице, где неизменный холод пронизывал меня до костей. Я сразу забывал, что такое свет, что такое тепло. Никогда, никогда больше не смогу я согреться.

Я научился становиться невидимым и достиг в этом деле совершенства. Я мог провести два часа за чашкой кофе и четыре за обедом, а официантки даже не смотрели в мою сторону. Уборщицы, выставлявшие меня из Общин под закрытие, вряд ли отдавали себе отчет в том, что каждый вечер обращаются к одному и тому же человеку дважды. По воскресеньям, набросив на плечи плащ-невидимку, я иногда по шесть часов кряду сидел в приемной врача, безмятежно листая “Янки” (“Дары моря на острове Каттиханк”) или “Ридерз дайджест” (“Десять способов помочь больной спине!”), и ни медсестра, ни врач, ни ожидавшие своей очереди пациенты не подозревали о моем присутствии.

Однако, как и человек-невидимка из романа Уэллса, я обнаружил, что за чудесный дар приходится расплачиваться, и в моем случае ценой так же оказалось некоторое помрачение рассудка. Мне стало казаться, что люди не замечают мой взгляд и лишь по воле случая не проходят сквозь меня. Мои суеверия стали сгущаться в подобие мании. Я начал твердо верить, что рано или поздно одна из шатких железных ступенек, ведущих в мою комнату, отвалится и я рухну вниз и сломаю себе шею или, хуже того, ногу (в последнем случае я наверняка замерзну или умру с голоду, прежде чем Лео придет мне на помощь). Однажды, когда я быстро и без малейшего страха одолел лестницу, я поймал себя на том, что у меня в голове вертится старая песенка Брайана Ино (“И в Нью-Дели, и в Гонконге знают, это ненадолго...”), и с тех пор я обязательно напевал ее всякий раз, когда поднимался или спускался по злосчастным ступенькам.

Дважды в день, перед тем как перейти реку по узкому мостику, я непременно останавливался и копался в грязно-бурой снежной каше у обочины, пока не находил камень приличных размеров. Наклонившись над заледеневшими перилами, я швырял его в бурлящий поток, который мчался над гранитными валунами, похожими на крапчатые яйца в гнезде динозавра. Может быть, это была дань речному богу за безопасный проход по мосту или попытка доказать ему, что я, пусть и невидимый, все же существую. Речушка была довольно мелкой, и иногда я слышал, как брошенный камень ударяется о дно. Вцепившись обеими руками в перила, я зачарованно наблюдал, как вода течет, вскипая и пенясь, над гладкими отполированными камнями, и думал о том, каково было бы упасть и раскроить о них голову: зловещий хруст, внезапная слабость и красные мраморные прожилки, разбегающиеся в воде.

Если я брошусь вниз, подумалось мне вдруг, кто найдет меня в этом белом безмолвии? Может быть, река протащит меня по камням и выплюнет в заводи за красильной фабрикой, где какая-нибудь женщина, выезжая со стоянки после работы, часов в пять, случайно заметит меня в свете фар? Или же меня прибудет в тихое местечко за поросшей мхом глыбой, где, подобно частям мандолин, я буду упрямо болтаться размокшим свертком в ожидании весны?

Январь перевалил за середину. Столбик термометра неуклонно падал; моя жизнь, до сих пор лишь одинокая и безрадостная, стала невыносимой. Каждый день я автоматически брел на работу и обратно. Порой приходилось идти по жуткому морозу, порой по такой метели, что не было видно ничего, кроме снежной круговерти, и добраться домой можно было, только держась вплотную к ограждению шоссе. Придя на склад, я заворачивался в грязные одеяла и замертво валился на пол. Все мои силы уходили на отчаянную борьбу с холодом, стоило же хоть чуть-чуть расслабиться, как меня охватывали болезненные видения в духе Эдгара По. Однажды ночью мне приснился собственный труп – глаза широко открыты, во вздыбленных волосах ледяное крошево.

Каждое утро я появлялся в кабинете доктора Роланда с такой точностью, что по мне можно было проверять часы. Этот, с позволения сказать, заслуженный профессор психологии не заметил ни одного из “десяти признаков близкого нервного срыва”, или что там ему полагалось распознавать навскидку и объяснять студентам. Напротив, в моем молчании он черпал

вдохновение для долгих монологов об американском футболе и о собаках, которые были у него в детстве. Редкие замечания, с которыми он обращался ко мне, оставались для меня загадками. Например, он как-то спросил, почему это я, учась на театральном отделении, ни разу не участвовал в постановках. “В чем дело? Ты что, стесняешься? Покажи им, на что ты способен!” В другой раз он между делом поведал мне, что, учась в Брауне, снимал комнату вместе с соседом по этажу. Однажды он сказал, что не знал, что мой друг тоже остался на зиму в Хэмпдене.

– Нет, все мои знакомые разъехались, – возразил я, нисколько не погрешив против истины.

– Ну-ну, нельзя так разбрасываться друзьями. Самая крепкая дружба возникает на студенческой скамье. Знаю-знаю, ты мне не веришь, но вот доживешь до моих лет, тогда сам все поймешь.

Возвращаясь домой по вечерам, я стал замечать, что контуры предметов подергиваются белизной. Мне казалось, что у меня нет прошлого, нет никаких воспоминаний, что всю жизнь я провел на этой шипящей поземкой, безжизненно сияющей дороге.

Я не знаю, что со мной было. Врачи потом сказали, что во всем виноваты хроническое переохлаждение и плохое питание плюс пневмония в легкой форме, но я не уверен, что этим можно объяснить галлюцинации и помутнение рассудка. Я даже не понимал, что болен, – любые симптомы, будь то боль или озноб, тонули в пучине гораздо более насущных проблем.

Ведь, как ни крути, вляпался я основательно. По статистике, это был самый холодный январь за последние двадцать пять лет. Я панически боялся замерзнуть насмерть, но податься мне было совершенно некуда. Наверно, я мог бы попроситься немного пожить у доктора Роланда, в квартире, которую он делил с престарелой подругой, но неловкость подобной ситуации казалась мне хуже смерти. Других, даже случайных знакомых у меня не было, и мне оставалось разве что стучаться в первую попавшуюся дверь. Как-то раз, одним особо паршивым вечером, я попытался позвонить родителям с телефона у входа в “Баулдер Тэп”. Шел мокрый снег, и я так дрожал, что с трудом смог просунуть монеты в щель. Не знаю, что я хотел от них услышать; отчаянная надежда на то, что они предложат выслать мне денег или билет на самолет, была утопией, и я это понимал. Может быть, стоя по колено в слякоти на продуваемой всеми ветрами Проспект-стрит, я ухватился за смутную мысль, что мне немного полегчает, если я просто позвоню туда, где тепло и светит солнце. Но когда после шестого или седьмого гудка я услышал раздраженное, хмельное отцовское “Алло!”, к горлу у меня подкатил ком и я повесил трубку.

Доктор Роланд снова упомянул моего воображаемого друга. На этот раз он заметил его поздно вечером на площади, возвращаясь домой через город.

– Я же говорил вам, что все мои друзья разъехались.

– Да ты знаешь, о ком я, – здоровенный такой парень. Еще очки носит.

Кто-то похожий на Генри? На Банни?

– Вы, наверно, ошиблись.

Температура упала так низко, что мне пришлось на некоторое время перебраться в “Катамаунт-мотель”. Я был единственным постояльцем. Хозяин заведения, кривоzubый старик, жил в соседней комнате и всю ночь кашлял и харкал, не давая мне уснуть. У меня на двери не было нормального замка, только доисторическая конструкция, открыть которую можно было обычной шпилькой. На третью ночь я очнулся от страшного сна (лестница из классического кошмара, все ступеньки разной высоты и ширины, прямо передо мной очень быстро спускается какой-то человек) и услышал слабый щелчок. Приподнявшись на кровати, я с ужасом увидел в призрачном лунном свете, как ручка тихонько поворачивается. “Кто там?” – чуть ли не заорал я, и ручка остановилась. Еще долго потом я, лежа в темноте, не смыкал глаз. На следующий день я съехал, предпочитая тихую смерть на складе перспективе быть зарезанным в постели.

Жуткая метель, разыгравшаяся в самом начале февраля, принесла обильный урожай оборванных линий электропередачи, дорожных происшествий и, лично для меня, галлюцинаций. В свисте ветра и реве воды мне слышались голоса. “Ложись, – раздавался их шепот. – Поворачивай налево, а то хуже будет”. Моя пишущая машинка в кабинете доктора Роланда стояла прямо перед окном. Однажды во второй половине дня, когда уже смеркалось, я выглянул во двор и замер, увидев, как под фонарем материализовалась неподвижная темная фигура – руки спрятаны в карманах пальто, лицо обращено в мою сторону. Сгущались сумерки, и шел сильный снег. “Генри?” – недоверчиво пробормотал я и крепко зажмурился, пока на обратной стороне век не проступили звездочки. Когда я вновь посмотрел в окно, то увидел лишь снег, кружащийся в желтом конусе пустоты под фонарем.

Ночью я лежал на полу и, не переставая дрожать, смотрел на светящийся столб снежинок, паривших между дырой в потолке и полом. Меня несло вниз по наклонной, в непроглядную темень, где не было ни мыслей, ни чувств, но в последнюю секунду, где-то на грани забвения, внутренний голос подсказывал, что, уснув, я могу уже не проснуться. С огромным трудом я заставлял себя открыть глаза, и тогда снежный столп, светло и неприступно возвышавшийся в темном углу, вдруг представал передо мной в своем истинном грозном обличье, улыбаясь и что-то нашептывая, – холодный сияющий ангел смерти. Но мне уже было все равно, мой застывший взгляд медленно угасал, и я снова соскальзывал в черную бездну сна.

Я начал терять чувство времени. Каждый день я по-прежнему тащился в кабинет шефа (только лишь потому, что там было тепло) и выполнял положенную мне нехитрую работу, но, честно сказать, не знаю, сколько бы еще мне удалось протянуть, не случись нечто совершенно удивительное.

Тот вечер я не забуду никогда в жизни. Была пятница, и доктору Роланду понадобилось уехать из города до следующей среды. Для меня это означало четыре дня подряд на складе, и даже в своем затуманенном состоянии я понимал, что могу замерзнуть насмерть без всяких шуток.

После закрытия Общин я пошел домой. Снега было по колено, и вскоре онемевшие ноги уже ломило от холода. Дойдя до Восточного Хэмпдена, я всерьез задался вопросом: смогу ли одолеть остаток пути до склада, а если да, то что я там буду делать? Все вокруг было темно и безжизненно. Даже “Баулдер Тэп” был закрыт, тусклая лампочка над таксофоном у входа была, казалось, единственным огоньком на много километров вокруг. Я пошел на свет, словно пытаюсь догнать мираж в пустыне. У меня оставалось около тридцати долларов – вполне достаточно, чтобы вызвать такси до “Катамаунт-мотеля” и остановиться в гнусной каморке без замка, какие бы ужасы там меня ни поджидали.

Я еле ворочал языком, и телефонистка отказалась дать мне номер службы такси:

– Вы должны сказать, какая именно служба вам нужна. Мы не можем...

– Я не знаю, какая именно, – проговорил я, словно с набитым ртом. – Здесь нет телефонной книги.

– Извините, но мы не можем...

– “Ред-топ”? – выпалил я в отчаянии, стараясь вспомнить хоть какие-то названия, выдумать их, все что угодно. – “Йеллоу-топ”?

“Таун-такси”? “Чекер”?

Наконец одно из них, видимо, оказалось верным, или, может быть, телефонистка просто сжалилась надо мной. Раздался щелчок, и записанный на пленку голос сообщил номер. Я набрал его очень быстро, чтобы не забыть, – так быстро, что перепутал цифры и в итоге лишился четвертака.

У меня была еще одна монетка – последняя. Я снял перчатку и негнущимися пальцами пошарил в кармане. Наконец выудил ее и уже собирался опустить в щель, как вдруг она

выскользнула, и, метнувшись вслед, я ударился лбом об острый угол железной полки под таксофоном.

Несколько минут я лежал, уткнувшись лицом в снег. В ушах шумело. Падая, я сбил трубку, и теперь та болталась на шнуре, издавая короткие гудки, доносившиеся до меня словно из параллельного мира.

Я поднялся на четвереньки и, уставившись прямо перед собой, увидел темное пятно на снегу там, где только что я лежал. Я дотронулся до лба – на пальцах была кровь. Четвертак исчез, вдобавок я забыл номер. Я решил вернуться попозже, когда бар будет открыт и можно будет наменять мелочи. Кое-как я встал на ноги и, оставив трубку болтаться, побрел прочь.

Половину лестницы я прошагал, половину прополз на четвереньках. По лицу текла кровь. Я остановился передохнуть на площадке и почувствовал, что все вокруг расплывается: помехи между каналами, пара секунд сплошной ряби, наконец черные линии выгнулись и на экране вспыхнула картинка – нечеткая, но все же узнаваемая. Дергающаяся камера, рекламный ролик из страшного сна. Мастерская-склад “Мандолины Лео”. Последняя остановка, прямо у реки. Низкие цены. Обращайтесь к нам по любым вопросам мясозаготовки.

Плечом открыв дверь нараспашку, я принялся шарить в поисках выключателя, как вдруг заметил нечто, заставившее меня подскочить от ужаса. У окна высилась неподвижная фигура в длинном черном пальто – руки сложены за спиной, в одной из них светится огонек сигареты.

С треском и гулом зажегся свет. Призрачная фигура, тут же превратившаяся в существо из плоти и крови, повернулась ко мне. Это был Генри. Казалось, он готов отпустить какое-то шутливое замечание, но, едва он увидел меня, глаза у него полезли на лоб, а рот стал похож на маленькую букву “о”.

Несколько секунд мы молча таращились друг на друга.

– Генри? – наконец выдал я еле слышным шепотом.

Он выпустил сигарету и шагнул ко мне. Это действительно был он: румяные влажные щеки, эполеты снега на плечах.

– Бог ты мой, Ричард! – воскликнул он. – Что с тобой стряслось? Не помню, чтобы раньше он хоть раз выказывал такое удивление. Я стоял как вкопанный, не сводя с него глаз. Предметы стали невыносимо яркими, ослепительно-белыми по краям. Меня повело в сторону, я попытался опереться о косяк и понял, что падаю, но Генри рванулся ко мне и успел подхватить.

Он опустил меня на пол и, скинув пальто, укрыл им меня как одеялом. Щурясь от света, я взглянул на него и вытер рот.

– Генри, откуда ты взялся?

– Я прилетел из Италии пораньше.

Он убирал мне волосы со лба, стараясь разглядеть рану.

– Шикарное у меня тут местечко, а? – со смехом спросил я.

Генри окинул взглядом дыру в потолке.

– Да, практически Пантеон, – обронил он, деловито наклоняясь, чтобы снова осмотреть мой разбитый лоб.

Я смутно помню, как Генри вез меня на машине, помню свет ламп и склонившиеся надо мной лица, помню, что меня просили привстать, когда мне вовсе этого не хотелось, и как у меня пытались взять кровь, а я что-то жалобно возражал. Но первое более или менее отчетливое воспоминание – это тот момент, когда я приподнялся с подушки и обнаружил, что лежу на больничной кровати в полутемной палате с белыми стенами, а из руки у меня торчит иглокапельницы.

Генри сидел рядом на стуле и читал при свете настольной лампы. Заметив, что я проснулся, он отложил книгу.

– Твой порез оказался неопасным. Рана была неглубокой и чистой. Тебе наложили пару швов.

– Это что – наш медпункт?

– Нет, это больница. Я отвез тебя в Монтпилиер.

– А зачем капельница?

– Врач сказал, что у тебя воспаление легких. Может быть, хочешь что-нибудь почитать? – вежливо спросил он.

– Нет, спасибо. Сколько сейчас времени?

– Час ночи.

– Вообще-то я думал, ты еще в Риме.

– Я вернулся пару недель назад. Если хочешь еще поспать, я позову медсестру – она сделает тебе укол.

– Да нет, не надо. Как получилось, что я не встретил тебя раньше?

– Я не знал, где ты живешь. Кроме почтового адреса колледжа, у меня не было никаких твоих координат, так что вчера пришлось поспрашивать у секретарш. Кстати, как называется городок, где живут твои родители?

– Плано. А что?

– Может быть, мне стоит позвонить им?

– Не беспокойся, – сказал я и снова сполз под одеяло. Иголка капельницы была холодной, как сосулька. – Лучше расскажи мне про Рим.

– Хорошо, – согласился он и тихим спокойным голосом принялся рассказывать о прелестных этрусских фигурках из терракоты в музее на вилле Джулия и заросших кувшинками фонтанах в ее нимфеуме; о вилле Боргезе и Колизее; о том, как ранним утром выглядит город с Палатина и как прекрасны, наверное, были действующие термы Каракаллы со всем своим мраморным убранством, библиотеками, огромным круглым залом калидария и фригидарием, гигантский бассейн которого уцелел и существует по сей день; и еще о многом другом, вот только не помню, о чем именно, поскольку я, конечно же, уснул.

В больнице я провел четверо суток. Почти все это время Генри просидел у моей постели. Он приносил газировку всякий раз, когда мне хотелось пить, а также снабдил меня бритвенными принадлежностями, зубной щеткой и парой собственных пижам из шелковистого египетского хлопка – кремового цвета, восхитительно мягких, с маленькими алыми инициалами ГМВ (М означало Марчбэнкс), вышитыми на кармане. Еще он принес мне бумагу и карандаши (они были мне совершенно ни к чему, но, думаю, Генри просто не мог себе этого представить) и грудку книг – половина из них была на неизвестных мне языках, да и вторая могла с тем же успехом быть на китайском. Как-то вечером, когда голова уже раскалывалась от Гегеля, я попросил его принести мне журнал. Просьба привела его в некоторое замешательство. Вернувшись, он протянул мне какой-то специальный ежемесячник (кажется, “Фармакологический бюллетень”), найденный на столике в коридоре. Мы почти не разговаривали. Большую часть времени Генри читал, и меня поражала его сосредоточенность – шесть часов кряду, практически не отрывая взгляд от страниц. Он почти не обращал на меня внимания. Однако все самые тяжелые ночи, когда я с трудом дышал и не мог уснуть от боли в легких, он тоже не сомкнул глаз. А однажды, когда медсестра опоздала с раздачей лекарств на три часа, он с олимпийским спокойствием вышел за ней в коридор и своим сдержанным, монотонным голосом прочитал столь убийственно красноречивую нотацию, что медсестра (нахальная и вечно всем недовольная швабра с крашеными, как у стареющей стюардессы, волосами) несколько смягчилась. Впредь она стала обращаться со мной гораздо бережнее – перестала зверски отдирать пластыри с иголки капельницы и ставить синяки, бездумно тыкая шприцем в поисках вен, а как-то раз, измеряя температуру, даже назвала меня “лапой”.

Врач неотложки сказал, что Генри спас мне жизнь. Эти слова, которые я потом не раз повторял в присутствии других людей, казались мне романтическими и исполненными драматизма, однако про себя я считал их преувеличением. Только потом, задним числом, я начал понимать, что врач, скорее всего, был прав. В двадцать лет мне казалось, что я бессмертен. Однако, несмотря на то что мой организм довольно быстро преодолел болезнь, зимовка на складе не прошла для меня даром. С тех пор у меня при малейшем похолодании начинают ныть кости и уже несколько раз возникали проблемы с легкими, вдобавок я стал легко простужаться, хотя раньше просто не знал, что это такое.

Я передал слова врача Генри. Он рассердился. Нахмурившись, он что-то съязвил – странно, я забыл, что именно, но помню, что мне стало очень неловко, – и больше я никогда не поднимал эту тему. На самом деле, я думаю, он и вправду спас меня. И если где-то есть место, где ведутся списки и раздаются награды, напротив его имени наверняка стоит золотая звездочка.

Впрочем, я впадаю в сентиментальность. Иногда, когда я думаю о той зиме, мне трудно от этого удержаться.

В понедельник утром меня наконец-то выписали. Все руки у меня были в следах от уколов, в кармане лежал пузырек с антибиотиком. Несмотря на то что я прекрасно мог передвигаться без посторонней помощи, к машине Генри, по настоянию врачей, меня вывезли санитары. Ощущать себя закутанным овощем в инвалидной коляске было довольно унижительно.

– Отвези меня в “Катамаунт-мотель”, – попросил я Генри на въезде в город.

– Нет, – ответил он, – пока ты поживешь у меня.

Генри жил на первом этаже старого дома на Уотер-стрит в Северном Хэмпдене, всего лишь в квартале от Чарльза с Камиллой, ближе к реке. Он не любил принимать гостей, и раньше я был у него всего один раз, да и то лишь пару минут. От жилища близнецов его квартира отличалась большей площадью и полным отсутствием хлама. Просторные комнаты были совершенно одинаковы: дощатые полы, белые стены, окна без штор. Мебель была добротной, но довольно простой и далеко не новой, ее было немного. Некоторые комнаты стояли абсолютно пустыми, и от всего помещения веяло чем-то призрачным и нежилым. Близнецы как-то сказали мне, что Генри не любит электрический свет, и действительно, кое-где на подоконниках я заметил керосиновые лампы.

В мой прошлый визит его спальня, в которой мне теперь предстояло жить, была закрыта – как мне показалось, несколько демонстративно. Там стояли книги (вовсе не так много, как можно было бы предположить), односпальная кровать и шкаф с внушительным навесным замком. Больше почти ничего не было. На двери шкафа висело черно-белое фото (оказавшееся обложкой “Лайф” 1945 года), на котором я узнал Вивьен Ли и с огромным удивлением молодого Джулиана. Снимок был сделан на каком-то приеме: у обоих в руках бокалы, Джулиан что-то шепчет Вивьен Ли на ушко, и та смеется.

– Где это снято? – спросил я.

– Не знаю. Джулиан говорит, что уже не помнит. Просматривая старые журналы, нет-нет да и наткнешься на его фотографии.

– Да? А с чем это связано?

– В свое время он был знаком со многими.

– С кем?

– Почти все эти люди уже умерли.

– Нет, правда, с кем?

– Ричард, я даже не знаю. – И затем, уступая: – Я видел его фотографии с Ситуэллами⁴⁷. И с Элиотом. Еще есть одна, немного забавная, с той актрисой – не помню, как ее звали. Она тоже давно умерла. – Он задумался. – Блондинка. Кажется, она была замужем за каким-то бейсболистом.

– Мэрилин Монро?

– Возможно. Фото было не очень хорошим. Обычный газетный снимок.

Накануне Генри съездил на склад и забрал мои вещи. Чемоданы стояли на полу у кровати.

– Генри, я не хочу занимать твое место, – сказал я. – Где ты сам-то будешь спать?

– В дальней комнате есть другая кровать – откидывается от стены. Не знаю, как такие правильно называются. Я на ней еще ни разу не спал.

– Тогда давай там буду спать я?

– Нет. Мне самому любопытно попробовать. К тому же, я считаю, время от времени стоит менять место, где спишь, – сны становятся интереснее.

Я рассчитывал провести у Генри всего несколько дней (уже в понедельник я снова вышел на работу), но в результате остался у него до начала семестра. Я не мог понять, почему Банни говорил, что с ним трудно уживаться. О лучшем соседе нельзя было и мечтать – спокойный, опрятный и почти безвылазно у себя в комнате. Обычно, когда я приходил с работы, Генри дома не было; он никогда не рассказывал мне, где проводит вечера, а я никогда не спрашивал. Но иногда к моему возвращению был готов ужин (в отличие от Фрэнсиса Генри не был изобретательным поваром и готовил только простые блюда – курицу с вареной картошкой и прочую холостяцкую пищу), и мы усаживались за карточным столиком на кухне, ели и разговаривали. К тому времени я уже хорошо уяснил, что лучше не совать нос в его дела, но однажды вечером любопытство взяло верх, и я спросил: “А что, Банни все еще в Риме?”

Он ответил не сразу.

– Думаю, да, – сказал он, положив вилку. – По крайней мере, он был там, когда я улетал.

– Почему он не вернулся вместе с тобой?

– Не захотел, наверно. Я оплатил жилье до конца февраля.

– Он взвалил на тебя всю аренду?

Генри снова помедлил с ответом.

– Честно говоря, как бы Банни ни старался уверить тебя в обратном, ни у него, ни у его отца нет ни гроша.

От изумления я открыл рот:

– Я-то думал, его родители вполне обеспечены.

– Я бы так не сказал, – спокойно произнес Генри. – Когда-то у них, возможно, и были деньги, но даже если так, они давным-давно их истратили. Один их ужасный дом, должно быть, обошелся в целое состояние. Они обожают пускать пыль в глаза, перечисляя яхт- и кантри-клубы, в которых они состоят, и элитные заведения, в которых обучались их сыновья, но все это загнало их в долги. Они производят впечатление людей состоятельных, но на деле не успевают латать дыры в семейном бюджете. Полагаю, мистер Коркоран в двух шагах от банкротства.

– Банни, кажется, живет очень даже неплохо.

– У Банни, с тех пор как я его знаю, не было ни цента карманных денег, – язвительно сообщил Генри. – Зато всегда присутствовала неумная жажда роскоши. Неудачное сочетание, на мой взгляд.

Мы продолжали есть в тишине.

⁴⁷ Эдит Луиза Ситуэлл (1887–1964) – поэт и критик; Фрэнсис Осберт Сашеверелл Ситуэлл (1892–1969) – писатель и критик; Сашеверелл Ситуэлл (1897–1988) – писатель и искусствовед.

– На месте мистера Коркорана, – чуть погода прервал молчание Генри, – я бы подключил Банни к бизнесу или отправил его получать какую-нибудь профессию сразу же после школы. Банни совершенно нечего делать в колледже. Он и читать-то научился только лет в десять.

– Он недурно рисует, – заметил я.

– Да, я тоже так считаю. Но совершенно очевидно, что у него нет никаких способностей к научной работе. Пока позволял возраст, им следовало отдать его в подмастерья к художнику, а не посылать во все эти частные школы для отстающих детей.

– Он прислал мне симпатичную карикатуру, где вы с ним стоите у статуи императора Августа.

Генри прокомментировал мои слова резким звуком неодобрения.

– Это было в Ватикане. Целый день он только и делал, что во весь голос отпускал остроты из серии “католики и макаронники”.

– Хорошо еще, он не умеет говорить по-итальянски.

– Его итальянского вполне хватало, чтобы заказывать самые дорогие блюда всякий раз, когда мы приходили в ресторан, – сурово сказал Генри, и я счел за лучшее сменить тему.

В последнюю субботу каникул я лежал на кровати в комнате Генри и читал. Сам Генри куда-то ушел, пока я еще спал. Вдруг раздался громкий стук в дверь. Я подумал, что он, наверное, забыл ключ, и пошел открыть.

На пороге стоял Банни. На нем были темные очки и – полная противоположность его обычным бесформенным обноскам из твида – прекрасно сшитый итальянский костюм с иголочки. Было видно, что за каникулы он набрал килограммов шесть-семь. Судя по всему, он совершенно не ожидал меня здесь увидеть.

– О, приветтики, Ричард, – сказал он, крепко пожимая мне руку. – *Buenos días*⁴⁸. Рад тебя видеть. Я заметил, что у дома нет машины, но думаю, дай все равно зайду – я ведь только что приехал. А где хозяин жилища?

– Его нет.

– Чем же ты тут тогда занимаешься? Это что – ограбление со взломом?

– Я тут остался ненадолго пожить. Кстати, я получил твою открытку.

– Пожить? – переспросил он, как-то по-особенному разглядывая меня. – Как это? – Было странно, что он еще ничего не знает.

– Я болел, – ответил я и пояснил в двух словах, что произошло.

– Хммф... – отозвался Банни.

– Может, хочешь кофе?

Мы прошли через спальню на кухню.

– Похоже, ты тут вполне обжился, – бросил Банни, глядя на чемоданы и ночной столик с моими вещами. – Слушай, а у тебя только американский кофе?

⁴⁸ Добрый день (исп.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.